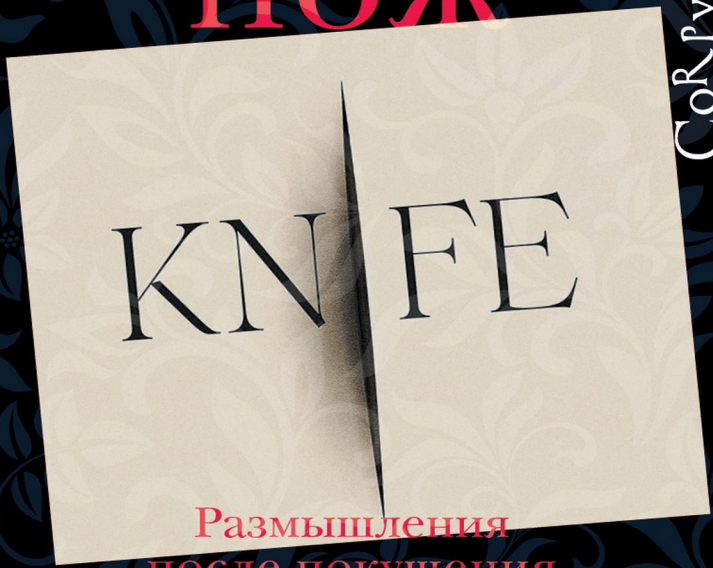
Любовь — это самая мощная сила, она способна двигать горы. Она способна изменить мир.

САЛМАН

РУШДИ

НОЖ



Размышления после покушения на убийство

Нож. Размышления после покушения на убийство

Салман Рушди

Аннотация
Салман Рушди. Нож. Размышления после покушения на убийство
Часть первая. Ангел смерти
1. Нож
2. Элиза
3. Хэмот
4. Реабилитационный центр
Часть вторая. Ангел жизни
5. Возвращение домой
6. А.
7. Второй шанс
8. Развязка?

Аннотация

12 августа 2022 года Салман Рушди собирался выступить в городе Чатокуа, штат НьюЙорк, с лекцией о том, как опасна может быть жизнь писателя. На Рушди напал человек, который вскочил на сцену и несколько раз ударил его ножом. Нападавший был задержан, Рушди был экстренно доставлен в больницу. Последовали долгие месяцы лечения, а потом еще и восстановления после психологической травмы. Но Рушди нашел в себе силы не только выдержать все испытания, но и написать об этом правдивую и смелую книгу. Да, ему была очень важна поддержка родственников и собратьев по писательскому цеху, но главное – он вновь отстоял право писать и говорить о том, что для него важно.

Салман Рушди
Нож. Размышления после покушения на убийство

Эта книга посвящается мужчинам и женщинам, которые спасли мне жизнь.

Мы – другие, мы отличаемся от людей, которыми были до вчерашнего бедствия.
Сэмюэль Беккет[1]

[1] Примечания: 1
Перевод М. Дадяна.

Перевод с английского Анны Челноковой



© Salman Rushdie, 2024
All rights reserved
© А. Челнокова, перевод на русский язык, 2025
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025
© ООО “Издательство Аст”, 2025
Издательство CORPUS ®

Часть первая
Ангел смерти



1. Нож

В четверть одиннадцатого 12 августа 2022 года, солнечным пятничным утром, к северу от Нью-Йорка я был атакован и почти что убит вооруженным ножом молодым мужчиной; это случилось сразу после того, как я вышел на сцену зала в Чатокуа, чтобы рассказать, как важно оберегать писателей.

Со мной был Генри Рис, создавший вместе со своей женой Дианой Самуэльс проект “Питтсбург. Город-убежище”, благодаря которому получили убежище несколько писателей, чья жизнь подвергалась риску в их собственных странах. Именно об этом мы с Генри должны были говорить в Чатокуа — о создании в Америке безопасного пространства для писателей из других стран и о моем участии в этом проекте на этапе его создания. Наша беседа была запланирована как одно из мероприятий недели под названием “Больше, чем приют. Переосмысляя Америку”.

Этот наш разговор так и не состоялся. В очень скором времени мне предстояло узнать, что местный зал не был для меня в тот день безопасным местом.

Я до сих пор вижу этот момент, словно в замедленной съемке. Мои глаза следят за человеком приближающимся бегом, который выскакивает из зрительного зала и бежит в мою сторону, за его стремительным прыжком. Вижу себя, вижу, как встаю и разворачиваюсь к нему. (Я продолжаю смотреть ему в лицо. Я не поворачиваюсь к нему спиной. У меня нет ран на спине.) Я поднимаю левую руку, чтобы защитить себя. Он вонзает в нее нож.

А после этого — множество ударов, в мою шею, в мою грудь, в мой глаз, повсюду. Я чувствую, как у меня подкашиваются ноги, и падаю.

Четверг 11 августа стал для меня последним вечером, проведенным в невинности. Генри, Диана и я безмятежно прогулялись по территории Института и мило пообедали в ресторанчике “2 *Ames*”, расположенном на углу парковой зоны под названием Бестор-плаза. Мы вспоминали речь, которую 18 лет тому назад я произнес в Питтсбурге и рассказал о своей роли в создании международной сети городов-убежищ. Генри и Диана слышали эту речь, и она вдохновила их сделать городом-убежищем и Питтсбург. Они стали оплачивать аренду небольшого домика и помогать деньгами китайскому поэту Хуан Ся-

ну, который трогательно написал на наружных стенах своего нового дома крупными белыми иероглифами свое стихотворение. Постепенно Генри и Диана расширяли свой проект, и он вырос в целую улицу домов-убежищ, Сампозния-уэй, в северной части города. Я был рад быть в Чатокуа и поздравить их с этим достижением.

Чего я не знал, так это того, что мой будущий убийца уже ходил в это время по дорожкам Института Чатокуа. Он попал туда по фальшивому удостоверению личности, его выдуманное имя было составлено из имен двух известных экстремистов из числа мусульман-шиитов, и даже когда мы выходили из гостевого дома поужинать и шли обратно, он тоже был где-то там, уже пару ночей он бродил повсюду, спал урывками, изучая место планируемого нападения, составляя план и оставаясь незаметным для камер видеонаблюдения и охраны. Мы могли столкнуться с ним в любой момент.

Я не хочу называть его здесь по имени. Атаковавший меня, мой будущий Ассасин, Андрот, напридумывавший себе Аксиом про меня, Аудиенция с которым чуть не закончилась для меня смертью… Я обнаружил, что думаю о нем — возможно, пытаясь простить, — как об отхожем

месте, Афедроне. Однако, принимая во внимание цели, с которыми я пишу этот текст, я стану называть его в нем более пристойно — “А.”. То, как я называю его в своей жизни, у себя дома — мое личное дело.

Этот самый “А.” не потрудился собрать информацию о человеке, которого вознамерился убить. По его собственному признанию, он с трудом осилил пару страниц из того, что я написал, и посмотрел на *YouTube* пару видео с моим участием — большего ему не требовалось. Из этого мы можем прийти к выводу, что, чем бы ни было вызвано его нападение, это были не “Сатанинские стихи”.

Я попытаюсь понять, что же это было, в этой книге.

Утром 12 августа мы рано позавтракали вместе с организаторами мероприятия на солнечной террасе принадлежащего институту гранд-отеля “Атенеум”. Я не люблю плотно завтракать, а потому ограничился кофе и круассаном. Я познакомился с гаитянским поэтом Сони Тон-Айме, почетным стипендиатом Майкла Руделла по писательскому мастерству в Чатокуа, который должен был представить нас на выступлении. У нас состоялся небольшой разговор о недостатках

и достоинствах заказа литературных новинок через *Amazon*. (Я признался, что порой так поступаю.) Потом мы вышли из лобби отеля, пересекли небольшую площадь и оказались за кулисами зала, где Генри представил меня своей девяностолетней матери, что было мило.

Непосредственно перед мероприятием мне вручили конверт с чеком, гонорар за мое выступление. Я убрал его во внутренний карман пиджака, после чего пришло время начинать программу. Сони, Генри и я вышли на сцену.

Этот амфитеатр вмещает больше четырех тысяч человек. Зал не был полон, но людей было очень много. Сони кратко представил нас, он говорил, стоя на подиуме в левой части сцены. Я сидел в правой части. Публика горячо аплодировала. Я помню, что поднял руку, чтобы поблагодарить за аплодисменты. А после краем правого глаза — и это было последнее, что видел в этой жизни мой правый глаз — я заметил человека в черном, бегущего в мою сторону справа из зрительного зала. Черная одежда, черная маска на лице. Он стремительно приближался снизу, как пущенная в заданный квадрат ракета. Я поднялся и наблюдал его приближение. Я остолбенел.

Прошло тридцать три с половиной года с тех

пор, как аятолла Рухолла Хомейни вынес пресловутый смертный приговор мне и всем тем, кто имеет отношение к публикации “Сатанинских стихов”, и, признаюсь, за эти годы я не раз представлял себе, как мой убийца отделяется от публики на том или ином сборище и движется в мою сторону, ровно так же, как сейчас. Так что моей первой мыслью, когда я увидел эту приближающуюся ко мне смертоносную тень, было: “Ну вот и ты. Ты пришел”. Рассказывают, что последними словами Генри Джеймса стала фраза: “Ну вот и оно, выдающееся событие!” Смерть приближалась и ко мне, но она не показалась мне выдающимся событием. Она показалась мне анахронизмом.

Моей второй мыслью было: “Почему сейчас? Неужели это правда? Столько времени прошло. Почему сейчас, после стольких лет?” Вне всякого сомнения, мир изменился, и эта история осталась в прошлом. Но он был здесь — ко мне стремительно приближался своеобразный путешественник во времени, смертоносный призрак из прошлого.

Тем утром в зале не было видно охраны — почему? я не знаю, — так что он беспрепятственно бежал ко мне. А я просто стоял там, уставившись

на него, я, дурак, прирос к месту, словно попавший в свет фар кролик.

Потом он добежал до меня.

Я не видел ножа либо, по крайней мере, не помню этого. Я не знаю, был он коротким или длинным, с широким, как у охотничьего ножа, лезвием, или с узким, как у стилета, с зубцами, как у ножа для резки хлеба, или с изгибом, как у серпа, это могла быть уличная выкидуха на пружине или просто нож, который он стащил на кухне у своей мамы. Мне все равно. Оно было вполне исправно, это невидимое оружие, и оно справилось со своей работой.

За две ночи до перелета в Чатокуа мне приснилось, что на меня нападает человек с копьем, гладиатор в римском амфитеатре. Там была публика, она выла, алкая крови. Я катался по земле, пытаясь уклоняться от ударов, которые гладиатор наносил сверху, и орал. Этот сон снился мне уже не впервые. Два предыдущих раза, пока мое “Я” во сне судорожно металось, мое настоящее, спящее “Я”, тоже с криком, выбрасывало свое тело — мое тело — из кровати, и я просыпался от болезненного удара об пол спальни.

В тот раз я не упал с кровати. Моя жена Элиза — автор романов, поэт и фотограф Рэйчел Элиза

Гриффитс — разбудила меня как раз вовремя. Я сидел в кровати, потрясенный реалистичностью и жестокостью своего сна. Я чувствовал, что это дурное предзнаменование (при том, что дурные предзнаменования — это то, во что я не верю). И все же зал в Чатокуа, где я должен был выступать, тоже был амфитеатром.

— Я не хочу ехать, — признался я Элизе.

Но от меня зависели люди: Генри Рис зависел от меня, мероприятие рекламировали на протяжении какого-то времени и продавали билеты, к тому же мне должны были хорошо заплатить за это выступление. Так случилось, что нам надо было оплатить несколько больших хозяйственных счетов — вся система кондиционирования в нашем доме устарела и могла вот-вот отказать, так что ее нужно было модернизировать, и эти деньги очень бы пригодились.

— Лучше я поеду, — сказал я.

Город Чатокуа назван по названию озера, на берегах которого расположен. “Чатокуа” — слово на языке эри, на котором разговаривал народ эри, однако и этот народ, и этот язык исчезли, так что значение этого слова остается неизвестным. Оно может означать “пару мокасин”, или “сумку, сшитую посередине”, или что-то совершенно

другое. Может, оно описывает форму озера, а может, нет. Есть вещи, навсегда затерявшиеся в прошлом, там, где в конце концов окажемся мы все, и большинство из нас — в забвении.

Впервые я увидел это слово в 1974 году, примерно тогда, когда закончил свой первый роман. Оно было в книге, ставшей в тот год культурной сенсацией, “Дзен и искусство ухода за мотоциклом” Роберта Пёрсига. Сейчас я слабо помню “ДИУМ” и что о нем говорили — меня не очень-то интересуют мотоциклы, да и дзен-буддизм тоже, — но я помню, что мне понравилось странное слово, а еще понравился замысел встреч в “Чатокуа”, на которых различные идеи обсуждались в атмосфере терпимости, открытости и свободы. В конце XIX — начале XX века “Движение Чатокуа” распространилось из городка на берегу озера по всей Америке, и Теодор Рузвельт назвал его “самой американской вещью Америки”.

Я уже один раз выступал в Чатокуа прежде, почти двенадцать лет назад, в августе 2010 года. Я хорошо помнил уютную атмосферу Института Чатокуа и аккуратные чистые трехполосные улочки вокруг амфитеатра. (Однако, к моему удивлению, амфитеатр оказался другим. Прежний снесли, а затем в 2017 году построили новый.)

Внутри стен Института седоволосые либералы сформировали идиллическое сообщество и жили в удобных деревянных домах, где не нужно было запирать двери. Провести там какое-то время было для меня все равно, что сделать шаг в прошлое, в прежний невинный мир, который, быть может, возможен только в мечтах.

В ту свою последнюю невинную ночь 11 августа я в одиночестве стоял рядом с гостевым домом и смотрел на полную луну, ярко освещавшую озеро. Один, под покровом ночи, только я и луна со мной. В моем романе “Город Победы” первые правители империи Биснага на юге Индии претендовали на то, что являются потомками бога Луны, и причисляли себя к “лунной династии”, среди представителей которой — сам Господь Кришна и могучий, словно Ахиллес, воин Арджуна из “Махабхараты”. Мне нравилась мысль, что не только земляне отправились на Луну на скучно названном в честь греческого бога Солнца Аполлона космическом корабле, но и лунные божества когда-то сошли на Землю с ее спутника. Я какое-то время простоял там в лучах луны, отпустив собственное сознание на лунную прогулку. Я вспоминал апокрифическую историю о Ниле Армстронге, ступившем на Луну и про-

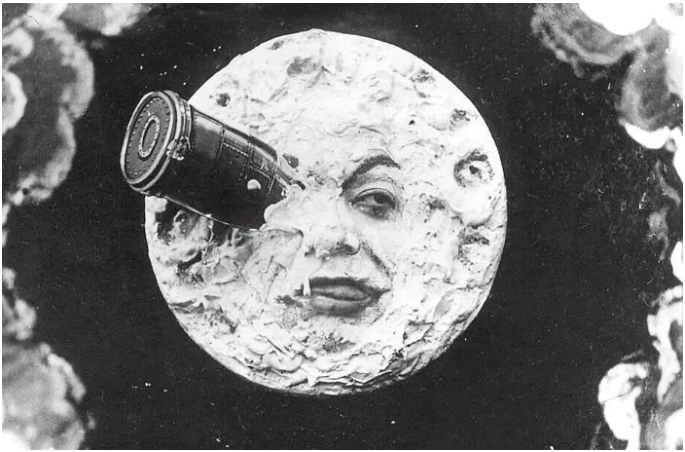
шептавшем: “Удачи, мистер Горски!”, поскольку еще мальчиком, в Огайо, услышал, как его соседи Горски ссорятся, потому что мистер Горски возжелал орального секса. “Ты получишь это не раньше, чем соседский мальчишка прогуляется по Луне”, — ответила ему миссис Горски. Как ни грустно, эта история оказалась выдумкой, но моя подруга Аллегра Хьюстон сняла об этом забавный фильм.

Еще я думал о “Расстоянии до Луны”, созданной Итало Кальвино в “Космикомиксе” истории о временах, когда Луна была гораздо ближе к Земле, чем теперь, и любовники могли запрыгивать на нее для романтических лунных интрижек.

Еще я думал о мультфильме Текса Эйвери “Козлик Билли”, о козлике, проглотившем Луну.

Свободные ассоциации — именно так работает мое сознание.

Наконец я также вспомнил четырнадцатиминутный немой фильм Жоржа Мельеса “Путешествие на Луну”, классику кино 1902 года о первых людях, достигших Луны в капсуле в форме пули, выпущенной из невозможно длинной пушки, наряженных в цилиндры и фраки и с зонтиками в руках. Вот самый известный кадр из этого фильма, момент прилунения:



Вспоминая картинку, на которой космический корабль вонзается в правый глаз Луны, я и представить не мог, что следующим утром будет уготовано моему собственному правому глазу.

Я оглядываюсь на того счастливого человека — самого себя, — смотрю, как он стоит той августовской ночью, залитый лунным светом. Он счастлив, потому что картина прекрасна, и потому что он влюблен, и потому что его роман закончен — он только что внес самые последние исправления в верстку — и первые читатели пришли от него в восторг. В его жизни все хорошо. Однако мы с вами знаем то, чего пока не знает он.

Мы знаем, что этот счастливый человек у озера находится в смертельной опасности. Он не имеет об этом ни малейшего представления, а потому мы боимся за него еще сильнее.

Этот литературный прием называется предвосхищением. Один из самых известных его примеров — знаменитое начало “Ста лет одиночества”: “Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндия, стоя у стены в ожидании расстрела…”[2] Когда мы, читатели, знаем то, чего герои знать не могут, у нас возникает желание предупредить их. Беги, Анна Франк, они завтра обнаружат, где ты прячешься. Когда я думаю об этой последней беззаботной ночи, мои воспоминания омрачает тень из будущего. Но я не могу предупредить себя. Для этого слишком поздно. Все, что я могу, — рассказывать эту историю.

Вот он — человек, одиноко стоящий в темноте и ничего не знающий об опасности, которая уже очень близко.

Вот человек, ложащийся спать. Утром его жизнь изменится. Он ничего не знает, пребывает, бедняга, в неведении. Он спит.

Пока он спит, будущее стремительно к нему

---

[2] Примечания: 2
Перевод В. Столбова и Н. Бутыриной.

приближается.

Но нет, как ни странно, на самом деле это возвращается прошлое, мое собственное прошлое стремительно приближается ко мне, это не гладиатор из сна, а человек в маске, с ножом, вознамерившийся привести в исполнение смертный приговор тридцатилетней давности. В смерти мы все принадлежим прошлому, люди, навсегда застрявшие в прошедшем времени. Нож хотел запереть меня в этой клетке.

Не будущее. Вернувшееся с того света прошлое, желающее вновь вернуть меня в то время.

Почему я не сопротивлялся? Почему я не убегал? Я просто стоял там, как бумажная кукла-пиньята, позволяя ему расколотить меня на куски. Неужели я настолько слаб, что не предпринял ни малейшей попытки защититься? Неужели я такой фаталист, что был готов сдаться своему убийце?

Почему я ничего не сделал? Другие, моя семья и друзья, пытались ответить мне на этот вопрос. “Тебе было на тот момент семьдесят пять лет. Ему двадцать четыре. Ты не смог бы ему противостоять”. “Наверное, ты впал в состояние шока еще до того, как он добежал до тебя”. “А что бы ты сделал? Он бегает быстрее, чем ты, и у тебя

не было оружия". И — снова и снова: "Где, черт возьми, была охрана?"

Я и в самом деле не знаю, что думать и как отвечать. Бывают дни, когда мне неловко, даже стыдно из-за того, что я не попытался дать отпор. В другие дни я велю себе не глупить: ну что бы я мог сделать?

Вот самое точное объяснение моим действиям, которое я смог найти: жертвы насилия переживают кризис осознания реальности. Дети по дороге в школу, молящиеся в синагоге, пришедшие за покупками в супермаркет, человек на сцене, мы все, скажем так, имеем устойчивую картину мира. Школа — это место, куда ходят учиться. В синагогу ходят молиться. В супермаркет — за покупками. Сцена — место, где выступают. Вот те рамки, внутри которых они себя видят.

Насилие разбивает эту картину вдребезги. Внезапно люди больше не помнят правил — что надо говорить, как вести себя, какой выбор сделать. Они больше не понимают, что есть привычные вещи. Реальность рассыпается, и на ее место приходит необъяснимое. Страх, паника, паралич побеждают способность мыслить рационально. "Разумное мышление" более невозможно, поскольку, столкнувшись с насилием, люди более

не знают, что такое это самое “разумное мышление”. Они — мы — теряют стабильность и даже утрачивают разум. Наше сознание больше не знает, как действовать.

В то прекрасное утро в прекрасном интерьере ко мне бегом приближалось насилие, и моя реальность распалась на куски. Так что, возможно, не так и удивительно, что в те немногие секунды, что у меня были, я не знал, что делать.

В первые дни после нападения, лежа на больничной койке с несколькими частями тела, соединенными при помощи металлических скоб, я бы, наверное, гордо заявлял всем, кто был готов меня слушать: “Я ни на миг не терял сознания, так что помню все”. Сейчас мне очевидно, что это не так. Верно то, что я словно сквозь туман видел происходившее, что не отключился полностью, однако неверно, что мои способности воспринимать действительность функционировали хотя бы немного нормально. Уверенности моих суждений в то время, возможно, способствовали мощные обезболивающие, которые я получал, — фентанил и морфин, если быть точным. После них, соответственно, остается коллаж, в котором осколки моих собственных воспоминаний перемешиваются с чужими наблюдениями и новыми

данными.

Я почувствовал, что он очень сильно ударил меня справа в челюсть. “Он сломал ее — я помню, как я это подумал, — у меня выпадут все зубы”.

Сначала я подумал, что на меня напал кто-то, по-настоящему обладающий недюжинной силой. (Как я узнал впоследствии, он действительно занимался боксом.) Теперь я знаю, что у него в руке был нож. Кровь побежала у меня по шее. Упав, я увидел мокрое пятно на своей рубашке.

Затем все происходило очень быстро, и я не уверен, в каком порядке. На моей левой руке появилась глубокая ножевая рана, были рассечены сухожилия и большая часть нервов. Появились еще по крайней мере две колотые раны на шее — порез через всю шею и еще один в правой части, а потом снова был удар в лицо, тоже справа. Сейчас, когда я смотрю себе на грудь, вижу еще два пореза внизу справа и рану в верхней части правого бедра. Еще есть рана в левой части рта и еще одна у линии роста волос.

И нож пронзил глаз. Это был самый жестокий удар и глубокая рана. Лезвие рассекло зрительный нерв, и это означало, что сохранить зрение будет невозможно. Способность видеть ушла навсегда.

Он просто резал меня с дикой жестокостью, резал и пронзал, нож вонзался в меня, словно сам был живым существом, и я рухнул назад, подальше от него и его атак, — упав, я больно ударился левым плечом об пол.

Кое-кто из публики — не желая расставаться с собственной картиной мира и видеть то, что на самом деле происходило — решил, что нападение было своего рода перформансом, призванным наглядно продемонстрировать проблему безопасности писателей, обсудить которую мы собрались.

Даже Генри Рису, сидевшему на стуле, понадобилось мгновение, чтобы подрихтовать собственную реальность. Затем он увидел, что этот человек “оседлал” меня, увидел мою кровь.

То, что произошло потом, было чистым героизмом.

Генри говорит, что действовал “инстинктивно”, но я не уверен, что это так. Генри, как и мне, за семьдесят, в то время как А. было двадцать четыре, он был вооружен и пришел убивать. И все же Генри бросился к нему через сцену и схватил его. Думаю, правильнее всего сказать, что он продемонстрировал свои лучшие качества. Показал свою природу, выражаясь иначе. Его смелость

— следствие того, кто он есть.

А затем продемонстрировали свои лучшие качества и зрители. Я не знаю точно, сколько человек бросилось ко мне на помощь, но, лежа на полу, я видел, как куча людей пыталась совладать с моим потенциальным убийцей, несмотря на то что он был молод, силен и у него в руках был окровавленный нож, так что обезвредить его было непросто. Если бы не Генри и зрители, я бы не сидел здесь и не писал сейчас эти строки.

Я не видел их лиц и не знаю их имен, но они были первыми людьми, спасшими мне жизнь. Так что в то утро в Чатокуа я столкнулся с худшими и лучшими проявлениями человеческой природы, причем почти одновременно. Такие уж мы существа: заключаем внутри себя и возможность убить старого незнакомого человека, не имея на то практически никаких причин — талант шекспировского Яго, который Кольридж назвал “беспричинной Злобой”, — и носим в себе антидот к этой заразе — силу духа, самоотверженность, готовность рисковать собственной жизнью, чтобы помочь старому незнакомому человеку, валяющемуся на полу.

В конце концов, я полагаю, появился представитель закона и взял моего несостоявшегося убийцу

под стражу. Мне ничего об этом неизвестно. У меня были другие важные дела.

Ружье можно использовать с дальнего расстояния. Пуля способна лететь далеко, выстраивая мост смерти между убийцей и убитым.

Выстрел предполагает дистанцию, а нападение с ножом подразумевает интимность, нож — оружие, которое можно использовать только близко, и преступления, совершаемые с его помощью, требуют непосредственного контакта. *А вот и я, подонок*, шепчет нож своей жертве. *Я ждал тебя. Видишь меня? Я у тебя прямо перед лицом. Я вонзаюсь своей смертоносной остротой в твою шею. Чувствуешь? Вот тебе еще, а потом еще. Я здесь. Прямо перед тобой.*

По последним данным А. провел со мной двадцать семь секунд. За двадцать семь секунд — если, конечно, вам свойственен религиозный образ мыслей — вы можете прочитать молитву. Либо, если отойти от религии, прочитать вслух один из шекспировских сонетов — тот, что о летнем дне, или, возможно, мой любимый, под номером 130, “Ее глаза на звезды не похожи”[3]. Четырнадцать строк пятистопным ямбом, ок-

[3] Примечания: 3
Перевод С. Маршака.

тет и секстет. Вот сколько времени мы были вместе в единственный момент интимности, случившийся между нами. Интимность между незнакомцами. Эту фразу я порой использовал прежде, описывая ту радость, что заключает в себе чтение, это счастливое единение внутренней жизни автора и читателя.

Ничего счастливого в нашем единении не было. Или, быть может, было, для А. По крайней мере, он достиг своей цели: лезвие его ножа входило в тело того, кто был его целью, снова и снова, и у него были все основания полагать, что его дерзкое предприятие увенчалось успехом и он сам стоит на сцене истории, сделавшись тем, кто воплотил в жизнь давнишний приговор.

Да, я думаю, он был счастлив все время нашего интима.

Потом его стащили с меня и повалили на пол. Двадцать семь секунд его славы прошли. Он снова был никем.

Я помню, как лежал на полу и смотрел на лужу крови, натекшую из моего тела. *Как много крови*, подумал я. А потом подумал: *я умираю*. Это не казалось драматичным или ужасным. Скорее вполне вероятным. Да, было похоже, что именно это со мной происходит. И это было нечто обы-

денное.

Мало кто оказывается в состоянии описать свой опыт почти что умирания. Позвольте мне сначала рассказать о том, чего не было. В происходившем не было ничего сверхъестественного. Никаких “тоннелей из света”. Никакого ощущения, что я выхожу из тела и поднимаюсь вверх. На самом деле я редко когда чувствовал такую сильную связь со своим телом. Мое тело умирало и вместе с собой забирало и меня. Это было очень сильное физическое ощущение. Позже, уже будучи вне опасности, я спрошу себя: кем или чем было то, о чем я думал “Я”, субстанция, заключенная в теле, но этим телом не являющаяся, нечто, что философ Гилберт Райл некогда назвал “призраком в машине”. Я никогда не верил в бессмертие души, и опыт, пережитый мною в Чатокуа, похоже, подтверждает это. “Я”, кем бы или чем бы оно ни было, определенно стояло на краю смерти вместе с вмещающим его телом. Раньше я, бывало, говорил, скорее в шутку, что то, что мы способны ощущать внетелесных “себя”, свое “Я”, может означать, что мы обладаем *смертной* душой, проявлением объективного мира либо сознанием, которое исчезает вместе со смертью тела. Теперь я думаю, что это может и не быть

лишь шуткой.

Лежа на полу, я ни о чем таком не думал. Мой разум занимала мысль, которую было трудно вынести: я умру вдали от тех, кого люблю, окруженный чужими людьми. Я особенно остро ощущал одиночество. Я больше никогда не увижу Элизу. Больше никогда не увижу своих сыновей, свою сестру, ее дочек.

Кто-нибудь, сообщите им, пытался я сказать. Не знаю, услышал ли меня кто-то и понял ли. Мой голос звучал где-то очень далеко от меня, хриплый, сбивчивый, неразборчивый, непонятный.

Я видел смутно, как через стекло. Я слышал, но словно издалека. Было очень шумно. Я понимал, что возле меня собрались люди, они склоняются надо мной и все одновременно что-то кричат. Над распластанным мной гулкий купол из человеческих существ. *Клош*, если прибегнуть к кулинарным терминам. Я словно был основным блюдом на тарелке — меня подавали с кровью, *saignant,* — а они были нужны, чтобы сохранить меня теплым, — были, скажем так, крышкой надо мной.

Я должен сказать о боли, ведь мои собственные воспоминания об этом в корне расходятся с воспоминаниями тех, кто был вокруг, в этой группе

было по меньшей мере два врача из публики. Присутствовавшие рядом рассказывали потом журналистам, что я *выл от боли* и постоянно спрашивал: *Что у меня с рукой? Так больно!* В моей собственной памяти, странным образом, не осталось воспоминаний о боли. Возможно, шок и потрясение вытеснили из моего сознания ощущения агонии. Я не знаю. Словно оборвалась связь между моей “внешней”, находившейся в мире сущностью, издававшей вой и все прочее, и “внутренней”, находившейся во мне, которая каким-то образом оказалась отделенной от того, что я ощущал, и находилась, как я теперь думаю, практически в состоянии бреда.

Ред Рем — *английское* murder, *убийство, произнесенное наоборот. — Ред Рем, лошадь, трижды побеждала в больших национальных скачках с препятствиями — в* 1973, 1974, 1977 *годах.* — Подобная бессвязная чепуха внезапно лезла ко мне в уши. Но я слышал и что-то из того, что говорили склонившиеся над моей головой.

— Разрежьте ему одежду, чтобы увидеть, где раны, — кричал кто-то.

О, подумал я, *мой красивый костюм от Ральфа Лорена*.

Потом появились ножницы — а может, это

был нож, на самом деле я этого не знаю, — и с меня сняли одежду; было то, что требовало безотлагательных действий. Было и то, что мне требовалось сказать.

— У меня в кармане кредитки, — бормотал я кому-то, кто мог бы меня слышать, — в другом кармане ключи от дома.

Я услышал, как мужской голос сказал: Разве это сейчас важно?

А потом другой голос: Конечно. важно, вы что, не знаете, кто это?

По всей вероятности, я умирал, поэтому это действительно было неважно. Никто не ожидал, что мне понадобятся кредитки и ключи от дома.

Но сейчас, когда я оглядываюсь назад и слушаю, как мой едва различимый голос настойчиво говорит об этих вещах, вещах из моей нормальной повседневной жизни, я думаю, что какая-то часть меня — какая-то ведущая сражение часть глубоко внутри — просто не собиралась умирать, она была полностью настроена снова воспользоваться этими ключами и этими кредитками в будущем, на существовании которого эта внутренняя часть меня настаивала со всей присущей ей волей.

Некая часть меня шептала: *Живи. Живи.*

Хочу отметить, что все это ко мне вернулось —

кредитки, ключи, часы, небольшая наличность, всё. Ничего не было украдено. Я не получил назад только чек, который лежал в моем внутреннем кармане. Он был измазан кровью, и полиция забрала его в качестве улики. По этой же причине они оставили у себя мои туфли. (Меня спрашивали, почему я так удивляюсь, что ни одна из моих вещей не исчезла бесследно. Неужели кому-то могло захотеться украсть что-нибудь в такой жуткий момент? Наверное, я порой думаю о человеческой природе не так хорошо, как те, кто задает мне эти вопросы. Я счастлив, что мои опасения оказались напрасны.)

Большой палец плотно давил мне на шею. По ощущениям палец был крупным. Он зажимал самую большую рану, не давая живительной крови хлестать фонтаном. Хозяин пальца постоянно рассказывал о себе всем, кто был готов его слушать. Он говорил, что раньше был пожарным. Его звали Марк Перес. А возможно, Мэтт Перес. Он был следующим в череде из множества людей, спасших мне жизнь. Однако в тот момент я не думал о нем как о бывшем пожарном. Я думал о нем как о большом пальце.

Кто-то — возможно, это был врач — говорил: *Поднимите ему ноги. Нужно, чтобы кровь прили-*

ла к сердцу. Потом появились руки, поднявшие мне ноги. Я был на полу, одежду мне разрезали, ноги мои болтались в воздухе. Я был, как король Лир, “не совсем в своем уме”[4], но в достаточной степени оставался в сознании, чтобы чувствовать… унижение.

В течение следующих месяцев будет еще много подобных телесных унижений. Когда у тебя серьезные повреждения, приватность тела практически перестает существовать, ты утрачиваешь единоличную власть над физической составляющей твоего собственного “Я”, над сосудом, внутри которого плывешь. Ты позволяешь это, ведь альтернативы нет. Ты отдаешь другим право быть капитаном твоего судна, чтобы оно не утонуло. Ты позволяешь людям делать с твоим телом то, что им угодно, — протыкать иглами, ставить дренажи, делать инъекции, накладывать швы и рассматривать твою наготу, — чтобы ты мог жить.

Меня водрузили на носилки. Носилки подняли на каталку. После этого меня быстро повезли через кулисы на улицу к ожидавшему вертолету. Во время всего этого процесса большой палец по

---

[4] Примечания: 4
Перевод Б. Пастернака.

имени Мэтт или Марк Перес оставался на том же месте, зажимая рану на моей шее. Однако в вертолете нам с пальцем пришлось расстаться.

Сколько вы весите?

У меня мутилось сознание, но я понял, что этот вопрос адресован мне. Даже в том ужасном состоянии мне было неловко отвечать. За последние годы мой вес резко вышел из-под контроля. Я знал, что мне нужно сбросить килограммов 20–25, но это слишком много, и я ничего для этого не делал. И вот теперь я должен сообщить каждому в зоне досягаемости звука эту постыдную цифру.

Я был способен произносить только отдельные слоги. *Один. Ноль. Девять*.

Вертолет был простой черно-желтой пчелкой без дверей и со строгими ограничениями по весу. На борту не было места для большого пальца по имени Мэтт или Марк Перес. Другой палец или нечто другое пришло ему на смену. Я более не был способен воспринимать что-либо сколько-нибудь четко.

Мы летели. Я знал это. Я чувствовал, что под нами воздух, ощущал движение и происходившие вокруг меня срочные действия. Посадка была настолько мягкой, что я даже не осознал, что мы снова находимся на земле. Было впечатление,

что люди бегут. Подозреваю, что на рот и нос мне надели анестезионную маску. А потом… ничего.

Через четыре дня институт в Чатокуа выпустил заявление, в котором, среди прочего, говорилось: “Присутствие на территории института правоохранительных органов будет существенно увеличено на всей территории института. Кроме того, будут приняты повышенные меры для обеспечения безопасности, многие из которых будут незаметны для посетителей и проживающих на территории. Наш институт в сотрудничестве с профессиональными консультантами по безопасности и различными правоохранительными структурами работает над повышением безопасности и выработкой решений по снижению рисков”. (Десять месяцев спустя, 15 июня 2023 года, обещанные новые меры по обеспечению безопасности были представлены прессе.)

Сначала следует запереть конюшню, может подумать кто-то, *а потом привязывать лошадь*.

И тем не менее, как уже, видимо, догадался пытливый читатель, я выжил. В чудесном бразильском романе “Записки с того света (посмертные записки Браза Кубаса)” Машаду де Ассиса герой признается, что рассказывает свою историю, уже находясь в могиле. Он не объясняет,

как это стало возможно, так что этот трюк я так и не освоил.

Итак, я выжил — и об этом много еще следует рассказать, — а потому не могу сдерживать свойственную моему сознанию любовь к свободным ассоциациям.

Ножи. Ножи в любимых фильмах, “Нож в воде” Полански, история о насилии и безбожии. Ножи в любимых книгах. “Чудесный нож” Филипа Пулмана, который может прорезать границы между мирами и позволяет тому, кто им владеет, путешествовать по многочисленным реальностям. И конечно же нож мясника, которым главный герой “Процесса” Кафки оказывается зарезан на самой последней странице романа. “Как собака, — сказал он так, как будто этому позору суждено было пережить его”[5].

И еще два ножа, моих личных.

Первый: в 1968 году, окончив Кембридж, я поехал к родителям в Карачи, Пакистан, чтобы попытаться понять, что мне делать со своей жизнью. В те дни сравнительно молодой местный телеканал должен был каждый вечер транслировать одну программу на английском, часто

---

[5] Примечания: 5
Перевод Р. Райт-Ковалевой.

это было что-то наподобие истории из вестерна “Бонанца”. Человек, который управлял тогда телевидением Карачи, Аслам Азхар, был другом моей тетушки Баджи (Бегум Амины Маджид Малик, известной просветительницы и старшей сестры моей матери). Она устроила мне встречу с ним, и я представил свое предложение. Если он хочет вести вещание на английском, сказал я, почему бы периодически не давать какой-то оригинальный материал, а не просто постоянно гонять все эти “Гавайи 5.0”? Я предложил поставить одноактную пьесу Эдварда Олби “Что случилось в зоопарке”.

— Продолжительность пятьдесят минут, — сообщил я, — столько же, как у “Коломбо”, так что она встанет в сетке на то же место. Нужно подобрать всего двух героев и декорации, самой дорогой частью которых станет садовая скамейка. Так что это будет еще и дешево.

Мое предложение сработало. Я стал режиссером и исполнителем в этой постановке. Она получилась плачевно ужасной, и, к счастью, ее так никогда и не показали.

В кульминационный момент пьесы мой герой должен был сам налететь на нож, который держал второй персонаж. Выданный мне нож

оказался не бутафорским. Лезвие не убиралось в рукоятку. Это был настоящий нож с острым лезвием в 15 сантиметров.

— И что я, по-вашему, должен с этим делать? — спросил я у менеджера, отвечавшего за реквизит.

— Играйте, — ответил тот.

Второй: двадцать лет назад роман, впоследствии ставший “Клоуном Шалимаром”, появился из одного-единственного образа, который я не мог выбросить из головы, — образа мертвого мужчины, лежащего на земле, в то время как другой мужчина, его убийца, стоит над телом с окровавленным ножом в руках. Это все, что было у меня в начале: кровавое действо. Только позднее я понял, кем были эти двое мужчин и что между ними произошло. Когда я думаю об этом сейчас, меня берет оторопь. Обычно я не считаю свои книги пророчествами. У меня случались проблемы с пророками, так что на эту должность я не претендую. Однако, осмысливая то, как создавался этот роман, трудно не посчитать, что этот образ как минимум был предвидением. Воображение порой работает так, что даже наделенному этим воображением сознанию его до конца не понять.

Да и первая строчка “Сатанинских стихов” постоянно звучит у меня внутри: “*Чтобы родиться вновь, — произнес Джибрил Фаришта, падая с небес, — прежде нужно умереть*”.

Когда в 1988 году “Сатанинские стихи” были опубликованы, мне исполнился сорок один год. Это была моя пятая увидевшая свет книга. 12 августа 2022 года мне было семьдесят пять лет, и я с нетерпением ожидал, когда увидит свет моя двадцать первая книга, “Город Победы”. Больше, чем три четверти моей писательской жизни минуло с тех пор, когда — как я обычно об этом говорю — произошел тот самый вброс дерьма на вентилятор. Люди, интересующиеся моим творчеством, имеют гораздо более широкий выбор, чем был у них тогда, и обычно я говорю таким людям, что им, возможно, стоит начать с какой-нибудь другой, а не с “этой” книги (именно так люди обычно выражаются, имея в виду “Сатанинские стихи”).

На протяжении многих лет я чувствовал себя обязанным защищать текст “этого” романа и личность его автора. В некоторых литературных кругах было модно говорить об этой книге, что она не пригодна для чтения, что невозможно осилить больше 15 страниц. В этих кругах поговаривали о существовании “Клуба 15 страниц”.

Пьеса о так называемом “Деле Рушди” под названием “Иранские ночи” была поставлена в Королевском театре Лондона, и в ней, как припев в песне, повторялось: “Это книга, которую невозможно прочесть”. Я чувствовал, что должен защищать это произведение. К тому же множество известных людей из числа не-мусульман примкнули к атаковавшим меня мусульманам — Джон Бергер, Жермен Грир, Джимми Картер, Роальд Даль, а также различные важные люди из числа британских тори. Комментаторы, к примеру, журналист Ричард Литтлджон и историк Хью Тревор-Ропер, заявляли, что не были бы против, чтобы на меня напали. (Я пережил Тревор-Ропера, а вот Литтлджон, подозреваю, должен чувствовать себя сейчас вполне удовлетворенным, где бы он ни был.)

Я не испытываю более ни малейшего желания защищать этот роман или себя. Эссе “Добросовестно” и “Ничего святого?” и книга воспоминаний “Джозеф Антон” содержат в себе все, что я имел сказать по этому поводу. Что касается прочего, мне хватит, если обо мне будут судить по книгам, которые я написал, и жизни, которую я прожил. Позвольте мне сказать прямо: я горжусь тем, что сделал, и это в большой степени касается и

“Сатанинских стихов”. Ожидающие раскаяния могут прямо сейчас прекратить читать эту книгу. Мои романы способны позаботиться о себе сами. Одно из преимуществ того, что время течет, в том, что к этому моменту есть множество молодых читателей, способных относиться к “Сатанинским стихам” просто как к старому роману, а не к теологически злободневному вопросу.

Уточнение: такой исключительно литературный подход был возможен до того августовского дня. Одна из отвратительных сторон того, что произошло со мной в тот день в Чатокуа — это то, что на какое-то время, а быть может, и навсегда, оно вернуло “этот” роман в поле скандала.

Но я не намерен жить внутри этого поля.

2. Элиза

В сборнике эссе “Языки правды” я описал рождение фестиваля американского ПЕН-клуба “Голоса мира” и то, чем это было вдохновлено. Чтобы не повторяться, я лишь скажу, что, если бы Норман Мейлер не был в далеком 1986 году президентом ПЕН-клуба, не сумел бы найти бешеные деньги и не пригласил бы в Нью-Йорк блестящую плеяду самых крупных писателей со всего мира на тот легендарный конгресс, где Гюнтер Грасс и Сол Беллоу разругались друг с другом из-за нищеты в Южном Бронксе, Джон Апдайк использовал маленькие синие почтовые ящики Америки как метафору свободы, разозлившую значительную часть публики, посчитавшей ее местечковой, Синтия Озик обвинила бывшего австрийского канцлера Бруно Крайского (который сам был евреем) в антисемитизме из-за того, что он встречался с Ясиром Арафатом, Грейс Пейли сердилась на Нормана из-за того, что в работе секций принимает участие слишком мало женщин, а Надин Гордимер и Сьюзен Сонтаг не соглашались с ней, поскольку “литература — не тот работодатель, что предоставляет равные возможности”; и если

бы я сам не был там переполненным благоговения ребенком, если бы не было тех диких дней в отеле “Эссекс-хаус” на Сентрал-Парк-Саут, у меня никогда не возникло бы мысли организовать международный литературный фестиваль восемнадцать лет спустя в городе, где проходят международные фестивали, посвященные всему чему угодно, кроме — до того момента — литературы. Если бы я не начал заниматься созданием этого фестиваля с помощью Майка Робертса и Эстер Аллен из ПЕН-клуба и многих других его членов, если бы он не стал успешным ежегодным литературным аналогом бейсбольного “Поля его мечты” из одноименного фильма (“Если вы его построите, они придут”) … тогда бы, по всей вероятности, я никогда не встретил Элизу. Но все это случилось, и таким образом я повстречал ее майским днем 2017 года в зеленом зале университета Купер-Юниона перед открытием фестиваля. Возможно, все это произошло лишь *для того*, чтобы мы смогли встретиться. В таком случае я должен признать, что своей счастливой судьбой мы обязаны Норману Мейлеру.

Я возглавлял этот фестиваль на протяжении первых десяти лет его существования, а затем передал руководство в надежные руки других,

первым из которых стал Колм Тойбин. К 2017 году моей единственной обязанностью сооснователя было провозгласить начало церемонии открытия и вывести на сцену первых выступающих — прекрасного сирийского поэта Адониса (Али Ахмада Саида Эсбера), который должен был читать свои стихи на арабском, а также человека, который будет декламировать его стихи в английском переводе, совершенно неизвестную мне афро-американскую поэтессу Рэйчел Элизу Гриффитс. Я подошел поприветствовать Адониса (на французском, он не говорит по-английски) и был одарен ослепительной улыбкой женщины, стоявшей рядом с ним, она пожала мою руку и представилась: “Элиза”.

Читатель! Эту улыбку нельзя было не заметить.

Она предпочитает, чтобы ее называли ее вторым именем, сказала она, потому что так ее всегда называла мама. Вообще-то я также использую свое второе имя, так что это нас объединяет. Никто никогда не называл меня Ахмед, кроме моей матери, когда она на меня сердилась, но и тогда она произносила оба имени сразу: “Ахмед Салман, иди сюда сейчас же!” За годы я составил у себя в голове список известных людей, пользующихся

вторыми именами — Джеймс Пол Маккартни, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Робин Рианна Фенти, Ф. Мюррей Абрахам, Лафайет Рон Хаббард, Джозеф Редьярд Киплинг, Эдвард Морган Форстер, Кит Руперт Мёрдок, Томас Шон Коннери, Рэйчел Меган Маркл. Иногда (возможно, излишне часто) я перечисляю людей из этого списка, это мой давний трюк, но что-то в улыбке Элизы удержало меня, и я не пошел по этому пути.

Не выпендривайся, сказал я сам себе.

Мудрое решение.

И еще немного об именах. Как мне предстояло скоро узнать, отец и все члены ее семьи, да и почти что все друзья, называют ее Рэйчел. Но она попросила меня назвать ее Элизой, и я так и продолжаю это делать. Смерть матери в 2014 году стала главным потрясением в ее жизни, и пережитое вдохновило ее на создание пятой книги стихов “Рассматривая тело”: она хотела оставаться материнской версией самой себя. И это была “Элиза”. Мама часто называла ее так, потому она захотела быть ею, находилась в процессе становления.

Я бы сказал, что на данный момент счет Рэйчел — Элиза где-то 50:50. Элиза набирает очки.

Тем вечером в зеленом зале никто из нас не

думал ни о чем романтическом. Про нее я знаю точно, что же до меня, я был в разводе уже почти пятнадцать лет, а за последние полтора года даже не посмотрел ни в чью сторону. Незадолго до этого я разговаривал со своей сестрой Самин — она на год младше меня, но сама считает себя моей “сильно младшей сестрой”, — и мы оба сошлись на том, что романтические главы нашей жизни, видимо, остались в прошлом. Для нас это было нормально, мы были с этим согласны. Что касается меня, у меня была хорошая жизнь — двое прекрасных сыновей, любимая работа, милые друзья, красивый дом и достаточно денег. Прежние скверные дни остались в далеком прошлом. Мне нравился Нью-Йорк. В этой картине не было изъянов. Там всего хватало. И мне не нужна была в этом пейзаже еще одна фигура — спутница, любовница, — чтобы он стал завершенным. Всего было более чем достаточно.

Так что я совсем не искал любви. На самом деле я активно и решительно не искал ее. Вот когда она подошла ко мне со спины и вмазала в ухо, я не смог ей противиться.

Как сказал бы Мандалорец о любви: *Вот как оно бывает*.

Когда программа “Голоса мира” завершилась,

публика вышла на Купер-сквер к статуе Питера Купера, наблюдавшей со своего постамента за проходившим там пикетом в поддержку движения *Black Lives Matter*[6], участники которого держали зажженные свечи. Дух молодого Трэйвона Мартина, убийцу которого, Джорджа Циммермана, освободили, что и послужило началом движения, впоследствии превратившегося в BLM, витал в воздухе. Мы с Элизой присоединились к толпе и вместе взяли свечу. Я попросил кого-то сфотографировать нас на мой айфон, и я сейчас рад, что у меня есть фотография этого момента, пусть тогда еще ничего не произошло — или, точнее сказать, казалось, что ничего не произошло. Мы некоторое время подержали свечу, и затем каждый пошел своей дорогой.

Вечеринка ПЕН-клуба, посвященная завершению мероприятия, проходила на крыше отеля “Стэндард Ист-Виллидж”, совсем рядом с университетом Купер-Юнион. Я встретился с Марлоном Джеймсом и Колумом Маккэнном, выпил с ними в баре на первом этаже отеля и подумал: *Может, я просто поеду домой.* Они сказали, что идут на-

[6] Примечания: 6

Black Lives Matter (BLM — “Жизни чёрных имеют значение”, *англ.*) — общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих.

верх на вечеринку и буквально принудили меня пойти, хотя бы на чуть-чуть. Я немного помычал и похмыкал, но потом согласился.

В такие судьбоносные моменты жизнь может перемениться. Случай влияет на нашу долю ничуть не менее фундаментально, чем выбор или такие несуществующие вещи, как карма, кисмет и судьба.

Когда я поднялся наверх, на вечеринку, первым человеком, которого я увидел, была Элиза, и после этого я не смотрел ни на кого больше. То, что не произошло — и казалось, не должно было произойти, — в зеленом зале и во время пикета, в конце концов случилось тогда, когда мы этого не ожидали. Мы погрузились в легкую беседу, совсем немного окрашенную флиртом.

Вечеринка на крыше проходила в помещении и на террасе на открытом воздухе, эти площадки разделяли раздвижные стеклянные двери во всю длину зала. Был теплый ясный вечер, я предложил выйти наружу и полюбоваться залитым огнями городом. Она шла впереди. Следуя за ней, я не заметил одну важную вещь — то, что одна из створок раздвижной двери была открыта, и Элиза прошла через нее, в то время как другая оставалась закрытой. Я спешил, пребывал в сильном

смятении от компании блестящей прекрасной женщины, с которой только что познакомился, в результате чего на самом деле не смотрел, куда иду, и, думая, что передо мной открытое пространство, с силой налетел на стеклянную дверь и драматично растянулся на полу. Такая глупая смешная нелепость. У П. Г. Вудхауса есть рассказ “Сердце обалдуя”. Это название отлично подошло бы и для данного эпизода.

У меня кружилась голова. “Не отключайся, — упорно твердил я себе, — не смей терять чертово сознание!”

Очки разбились и врезались мне в переносицу, из-за чего по моему лицу текла кровь. Элиза подбежала ко мне и стала вытирать кровь с моего носа. Я слышал голоса, которые кричали, что я упал. Началась порядочная суматоха. Однако я не отключился. С небольшой помощью я поднялся на ноги и, потрясенный, заявил, что мне лучше взять такси и поехать домой.

Элиза спустилась на лифте вместе со мной. Подошло такси. Я сел в него.

Тогда и Элиза тоже села в такси.

“И, — как я люблю говорить, рассказывая эту историю друзьям, — с того самого момента мы вместе”.

А еще я люблю говорить: “Она в буквальном смысле отправила меня в нокаут”.

Мне кажется, это пример того, что на языке голливудских романтических комедий называют “нежной встречей”.

Очевидно, что, если бы не это болезненное столкновение с раздвижной стеклянной дверью, Элиза никогда не села бы со мной в такси. (Она полностью согласна с этим утверждением.) Она поехала, поскольку беспокоилась обо мне и хотела удостовериться, что со мной все в порядке.

Мы приехали ко мне домой и начали разговаривать. И проговорили, наверное, часов до четырех ночи. В какой-то момент она сказала, что рада, потому что теперь мы можем быть друзьями. Я ответил:

— У меня достаточно друзей. Это что-то другое.

Это возымело эффект. *А*, подумала она, *у него достаточно друзей*. Она была польщена.

Она уехала домой в Бруклин на рассвете. После ее отъезда я сделал запись. “Я думаю, что влюблен в Элизу. Надеюсь, это настоящее”.

В этой сцене в духе романтической комедии присутствуют странные совпадения с нападением — разбитые очки, кровь (гораздо меньше

крови, но все же это кровь), падение на пол в помутненном сознании, люди, столпившиеся надо мной. Но есть и огромное отличие — это счастливая сцена. Она о любви.

Один из самых главных моментов, благодаря которому я понял и произошедшее со мной, и саму суть истории, которую я сейчас рассказываю, — это то, что в этой истории ненависти — а нож это метафора ненависти — противостоит, и в конечном счете ее побеждает, любовь. Быть может, эта раздвижная стеклянная дверь — аналог *coup de foudre*, удара молнии. Метафора любви.

Мне всегда было интересно писать о счастье, во многом потому, что делать это очень трудно. Французскому писателю Анри де Монтерлану принадлежит известное выражение “*Le bonheur écrit à l’encre blanche sur des pages blanches*”. Счастье пишет белыми чернилами по белым страницам. Иными словами, ты не можешь сделать так, чтобы оно появилось на странице. Его нельзя увидеть. Оно не показывается. Что ж, думал я, это вызов. Я начал писать рассказ “Белые чернила на белом листе”. Его главного героя звали Генри — знак почитания в адрес Монтерлана, а также Генри из “Песен сновидений” Джона Берримена. Я хотел, чтобы мой Генри страдал от счастья так

же, как люди страдают от неизлечимой болезни или глупости. Я думал о вольтеровском “Кандиде” и хотел, чтобы Генри, в духе Кандида, считал, что живет в лучшем из всех возможных миров. Я думал, что Генри никак не может быть цветным, раз может быть вот так счастлив. Он должен быть белым.

Я написал первый абзац: “Генри Уайт был белым и счастливым. Долгое время про него можно было сказать только это. Все окружавшие его люди испытывали несчастья, о которых можно было рассказывать, а он был доволен жизнью и потому оставался своего рода белым пятном. Никто не знал, что с ним делать. Он был белым и счастливым с того самого дня, когда появился на свет. Однако сам он не думал о том, что он белый, ведь белый — цвет кожи людей, считающих, что думать о том, какой у них цвет кожи, неважно, ведь они просто люди; цвет — это то, о чем думают другие люди, которые не просто люди. Счастье было природой Генри, природой человека, которого никогда не подводило счастье и который думал о себе как о человеке, приговоренном иметь его, о чем было сказано в Декларации задолго до его рождения. Рядом с семейным почтовым ящиком на своей лужайке в Новой Англии, немного в

стороне от дома, принадлежавшего стоматологу, на фасаде которого красовалась табличка «Зубная боль», он установил свою собственную деревянную табличку. Надпись на ней гласила: «Счастливый дом»". (Сноска: моя тетушка Баджи жила в доме, который тоже назывался "Счастливым домом", он располагался в Карачи, Пакистан, на Дипчанд-Оджха-роуд, и было это миллион лет назад.)

На этом месте я остановился. Быть может, я допишу этот рассказ, а быть может, и нет. Я много думал о Генри, о Генри Берримене и о своем.

Однажды на платане я был счастлив,

Я был на самой верхушке и пел,

— говорит нам Берримен в самой первой "Песне сновидений". А чуть позднее появляется и Индия-Генри:

И Генри был счастлив, рядом с ней в потрясении

Рядом с собой, со своими возможностями;

Он слал свой "салам" начинающемуся рассвету,

И прокаженные сквозь дождь слали

свой “салам” ему.

Я хотел совершить с Генри ужасные вещи в своем “Кандиде” — хотел, чтобы у него умерли родители, чтобы он утратил свою удачу, чтобы его прекрасная Кунегунда бросила его, а после заболела сифилисом и потеряла все зубы. Я хотел, чтобы его почти убило во время землетрясения в Лиссабоне, чтобы прокаженные ограбили его и потешались над его страданьями. Я хотел, чтобы он был уничтожен тем же оружием, что дала ему его белая кожа, чтобы он стал смотреть на мир глазами небелого, сделался Генри не-Уайтом. Если после всего этого он остался счастливым и продолжил взращивать свой сад, тогда его счастье, а быть может, и все счастье как таковое, есть блаженное безумие. Морок. Наш мир ужасен, так что счастье — это ложь. Быть может, в конце будет то же, что у Берримена, — мост, чтобы с него спрыгнуть и чтобы все было кончено.

По крайней мере такое счастье-безумие не должно писать белым по белому.

Я так и не дописал этот рассказ. Он до сих пор живет где-то в скрытой части моего мозга.

Думаю, я прекратил писать его потому, что что-то совершенно невозможное произошло со мной благодаря нашей счастливой встрече с

Элизой: я стал счастливым. Счастье сделалось теперь и моей собственной историей, а не только историей моего героя, и оно совсем не писало белым по белому. Оно пьянило.

Я был счастлив — мы были счастливы — на протяжении пяти с лишним лет. А потом одна из тех катастроф, которые я хотел наслать на моего Генри, обрушилась на меня самого. Сможет ли наше счастье выдержать подобный удар? И если да, не будет ли оно мороком, попыткой отвести взгляд от ужаса этого мира, который нож сделал столь очевидным? Что может значить быть счастливыми, переживая последствия покушения на убийство? Что может значить — и как может отразиться на нас — перестать быть счастливыми?

12 августа 2022 года эти вопросы показались бы мне абсурдными, реши я поразмыслить над ними. В тот день казалось, что никакая часть меня не уцелеет.

Она была красива, но ее отношения с красотой, как она рассказывала, всегда были сложными. Она любила Рильке, который считал, что “с красоты начинается ужас. Выдержать это начало еще мы способны; мы красотой восхищаемся, ибо

она погнушалась уничтожить нас”.[7]

Она состояла из красоты и ужаса в равной пропорции. Я заказал все книги ее стихов, прочитал их и понял, что ее дар, ее природа, ее присутствие в мире уникальны. Она написала:

Я – женщина вне закона,

Танцующая танец теней. Моя жизнь слишком

стремительна, чтобы образовывались синяки. Вот так

Называют коллекционеров прекрасного.

Я чувствовал себя Али-Бабой, узнавшим волшебные слова, открывающие вход в пещеру с сокровищами — Сезам, откройся, — а в ней — от блеска слепило глаза — нашедшим сокровище, и этим сокровищем была она.

Мне очень повезло, что я тоже ей приглянулся. Через несколько лет отец спросил у нее, как мы полюбили друг друга, и она сказала, что вскоре после знакомства мы вместе ужинали в ресторане и она поняла, что все, чего она хочет, — это провести оставшуюся жизнь с этим мужчиной.

---

[7] Примечания: 7

Э. М. Рильке “Элегия Первая”, перевод В. Микушевича.

Так что каждый из нас получал и давал любовь. Самый прекрасный обмен дарами.

События развивались быстро. Наши жизни *слишком стремительны, чтобы образовывались синяки*. Прошло всего несколько недель, и мы уже жили вместе, несмотря на то что у нас обоих на самом деле синяки были. (Если говорить исключительно обо мне, у меня остались боевые шрамы от моего изменчивого романтического прошлого.) Наши друзья призывали нас быть осторожнее. Ее друзья, начитавшись недобрых и неправдивых слов обо мне в прессе, предостерегали ее на мой счет. Мои, видевшие, как часто и глубоко я бывал ранен в прошлом, встревоженно интересовались: *Ты уверен*? Возможно, мир неизбежно становится на этот путь, когда новорожденная любовь — не первая, не юная, не невинная, а следующая за горьким опытом. *Будьте осторожны*, предупреждал нас мир. *Не получите новых ударов*.

Но мы двигались дальше, лодчонки против течения. Что-то очень сильное пришло в наши жизни, и мы оба это знали. Со временем она познакомилась с моими друзьями, а я с ее, и предостережения больше не звучали. Недель через шесть после моего столкновения со стеклянной

дверью мы отправились в центр, в китайский ресторан в Трайбеке, с женщиной, которая была ее самой близкой подругой, поэтессой Камилой Аишей Мун, автором двух высоко оцененных поэтических сборников — “Свет луны и грязь” и “У нее нет имени”. Аиша, еще одна среди тех, кто предпочитает свое второе имя, была старше и печальнее Элизы (она звала ее Рэйчел), но они были близки, словно сестры. Мы с ней довольно мило передразнивали друг друга, и вечер получился приятным и наполненным смехом. А когда Элиза ушла в уборную, Аиша тут же подалась вперед, чтобы заглянуть мне в глаза и сказать невероятно серьезно: “Ты уж веди себя с ней как следует”.

Мир поэтов, начал я открывать для себя, гораздо более замкнут, чем мир прозаиков. Поэты, казалось, все друг друга знают, читают друг друга, тусуются вместе, постоянно совместно проводят чтения и прочие мероприятия. Поэты звонят друг другу поздно ночью и сплетничают до зари. Прозаику, годами просиживающему в комнате в одиночестве и лишь изредка поднимающему голову посмотреть поверх перил, поэты кажутся удивительно склонными сбиваться в стаи, они напоминают традиционную семью или общину. А внутри большой поэтической общины круг

Черных поэтов оказывается еще более тесным и склонным к взаимовыручке. Как много они друг о друге знают! Как интересуются творчеством друг друга, как сильно переплетены их жизни! Очевидно, что в поэзии речь идет о меньших деньгах, чем в прозе (если ты не Майя Энджелоу, Аманда Горман или Рупи Каур), и похоже, что экономическая "узость" этого мира рождает более глубокие связи между людьми. Такому можно позавидовать.

Пересечение границы Поэтляндии и Прозавилля часто предполагает путешествие через Воспомистан. Мемуары на сегодняшний день стали важным жанром в искусстве, они позволяют нам пересмотреть свое восприятие настоящего сквозь призму личного жизненного опыта, нашего уникального прошлого, воспоминаний. (Одним из последних примеров может служить "Как сказать «Вавилон»" Сафии Синклер — мощные, написанные богатым языком воспоминания о взрослении на Ямайке и необходимости оторваться от склонного к тирании отца-растафарианца.)

Элиза была другой. Она всегда хотела писать романы, рассказала она мне, — когда она начала грезить о том, чтобы стать писательницей, именно это было ее мечтой. Она писала прозу

всю свою жизнь, на самом деле начала раньше, чем стала сочинять стихи; однако теперь, когда она была автором пяти поэтических сборников — четыре из них увидели свет до нашей встречи, пятый, “Рассматривая тело”, был в процессе публикации, — пришло ее время прозаика.

Я быстро понял, что ее высоко ценят товарищи-поэты. Однако я отчасти разделял и расхожее мнение о том, что лишь немногим поэтам удалось успешно перейти в мир прозы. (Мне известен и непреложный факт, что очень, очень немногие прозаики способны перейти в мир поэзии. За свою жизнь я опубликовал одно стихотворение, и совершенно незачем говорить о нем что-либо еще.) Так что, когда Элиза сказала мне, что закончила черновой вариант своего дебютного романа, я — скажем так — начал нервничать.

Она нервничала тоже и какое-то время не хотела давать мне прочитать черновик. Мы оба знали, что практически невозможно двум писателям жить вместе, если им не нравится творчество друг друга, — и под “нравится” я подразумеваю здесь “по-настоящему нравится, до влюбленности”. Но в конце концов она дала мне текст, и, к своему облегчению, я смог искренне сказать, что нахожусь под впечатлением. Вскоре после этого

я узнал, что она известна также как уникальный фотограф и прекрасная танцовщица, что крабовые кексы, которые она готовит, стали легендой и что она также поет. Никто и никогда не хотел слушать, как я пою, или смотреть, как я танцую, или попробовать мои крабовые кексы. Будучи человеком, который умеет делать всего лишь одно дело, я был потрясен многогранностью ее талантов. Мне стало ясно, что наши отношения не были отношениями равных, а скорее отношениями, где я не дотягивал. И даже лучше: это были отношения, строящиеся не на конкуренции, а на всемерной взаимной поддержке.

Счастье.

Существует разновидность глубокого счастья, которая предпочитает приватность, оно расцветает вдали от людских глаз и не ищет оценки со стороны: счастье, предназначенное исключительно для тех, кто его испытывает, и этого, самого по себе, *достаточно*. Я чувствовал себя больным от того, что мою личную жизнь препарируют и рассматривают чужие люди, что я связан злобой их длинных языков. Элиза была и есть очень закрытый человек, и больше всего она опасалась, что из-за меня ей придется отказаться от свойственной ей приватности и купаться в

кислотном свете публичности. Я слишком долго жил в этом ярком свете без тени и также не хотел для нее такой участи. Я и для себя ее не хотел.

Что-то странное случилось с самой идеей приватности в наше сюрреалистичное время. Многие люди на Западе, в особенности молодые, перестали ею дорожить, наоборот, приватность стала чем-то обесцененным и на самом деле нежеланным. Того, что не представлено публично, попросту не существует. Ваша собака, ваша свадьба, ваш отдых на пляже, ваш ужин, интересный мем, который вы только что нашли, — всеми этими вещами необходимо ежедневно делиться.

В Индии приватность остается роскошью богачей. Бедняки, ютящиеся в тесных, перенаселенных пространствах, никогда не бывают одни. Многие обездоленные индийцы вынуждены совершать одну из самых интимных функций, свои естественные телесные отправления, на улице. Тот же, у кого есть собственная комната, должен быть при деньгах. (Не думаю, что Вирджиния Вулф когда-то бывала в Индии, но ее афоризм остается актуален — даже там, даже для мужчин.)

Дефицит рождает спрос, и для большей части населения Земли собственная комната — в

особенности для женщин — до сих пор остается предметом мечтаний. Однако на жадном Западе, где *внимание* сделалось чем-то самым желанным, где погоня за *подписчиками* и *лайками* сделалась неуемной, приватность стала ненужной, нежеланной, даже абсурдной.

Элиза и я, мы выбрали быть людьми приватными.

Это не означает, что мы держали наши отношения в секрете. О них знали мои родственники и ее тоже. Знали мои друзья и ее знали. Мы вместе выходили ужинать, ходили в театры, болели на стадионе за “Янки”, посещали художественные галереи, отплясывали на рок-концертах. Вели, короче говоря, обычную для ньюйоркцев жизнь. Но мы сторонились социальных медиа. Я не “лайкал” ее, она не “лайкала” меня. В результате чего на пять лет, три месяца и одиннадцать дней мы полностью исчезли с радаров.

Мы доказали, как мне кажется, что даже в эту эпоху зависимости от внимания два человека все еще могут вести, при том довольно открыто, счастливую приватную жизнь.

А потом появился нож, разрезавший эту жизнь на куски.

Когда мне было 20 лет и я учился в Кингс-кол-

ледже, Кембридж, прославленный антрополог Эдмунд Лич был провостом этого колледжа (“провостом” на языке Кингса именовался президент). В тот год, 1967-й, в год легендарного “Лета любви”, Хейт — Эшбери и цветов в волосах, знаменитые лекции Рейта на радио BBC читал Лич. Его выступления сделались притчей во языцех благодаря одной фразе. Вот она: “Семья, с ее ограниченной приватностью и пошлыми секретиками, является источником всех наших неудовлетворенностей”.

1967-й не был удачным для идеи семьи годом, поскольку молодое поколение — мое поколение — либо включилось, настроилось и выпало, как рекомендовал Тимоти Лири, либо — не в Британии, но в Америке — было поставлено под ружье и отправлено во Вьетнам под музыку *Country Joe and the Fish* “Я чувствую, что готов умереть” (“Станьте первыми в своем квартале, чей сын приедет домой в гробу”). К ужасу консерваторов по обе стороны океана семьи разрушались в результате политических протестов, совместного приема психоделических наркотиков, так называемой “контркультуры”, так что лекция Эдмунда Лича, прочитанная в самом сердце британского истеблишмента, показалась некоторым бунтарским шагом, призывом к революции.

Что касается меня, я не находил общего языка со своим отцом, который, помимо прочего, сделался склонным к агрессии пьяницей. Мы с сестрами знали о его ночных приступах ярости, однако наша мама сделала все, чтобы оградить нас от них. Мы знали, что вечерами следует держаться от него подальше. Знали, что, если у отца красные глаза, лучше за завтраком помалкивать. Но мы очень редко — считаные разы — испытывали всю мощь его гнева, порожденного виски. Когда в январе 1961 года мы с ним прилетели в Англию, где я должен был учиться в школе-интернате, мы провели вместе несколько дней в Лондоне перед началом семестра. Мы жили в одном гостиничном номере, и я скоро понял, что виски “Джонни Уокер” будет также проживать вместе с нами.

Эти холодные январские ночи в отеле “Кумберленд” меня сильно травмировали. Мне предстояло просыпаться от того, что отец ранним утром трясет меня, когда они с “Джонни” дошли до дна бутылки, предстояло выслушивать в свой адрес оскорбления на языке, которого я прежде не слышал, словами, которые, как я полагал раньше, вообще не должны были быть известны моему отцу, не то что произноситься в адрес своего первенца и единственного сына. Все, о чем я

мог думать, — как бы удрать от него, и я больше никогда не переставал думать об этом. Когда в 1968 году я окончил Кембридж, он не приехал на выпускную церемонию и не купил ни одного билета на самолет, ни для моей матери, ни для моих сестер, так что я стоял в одиночестве со своим дипломом на лужайке Королевского колледжа, окруженный счастливыми семейными группами, праздновавшими успех моих товарищей.

Источник всех наших неудовлетворенностей, думал я. Да, именно так.

После выпуска я долго не возвращался домой, а решил устраивать свою жизнь в Англии. Еще много лет после этого семейная жизнь — или скорее поиск в ней стабильности — давались мне нелегко. Были браки, разводы. Мой отец умер, и в последнюю неделю его жизни у нас состоялось знаменательное, хотя и слишком короткое, воссоединение. И все же здесь неподходящее место, чтобы сообщать слишком много частных подробностей либо раскрывать пошлые секретики. Я лишь скажу: мы не были бы теми, кто мы есть сейчас, если бы с нами не произошли несчастья нашего прошлого.

К моменту, когда я встретил Элизу, вокруг меня сплотилась маленькая любящая семья: двое моих

сыновей, моя сестра, две ее дочери, начало подтягиваться и следующее поколение. Они стали сердцем всей моей жизни, которое лишь окрепло благодаря нестабильности прошлых лет. И все они тут же полюбили Элизу. Их так не воодушевляли одна или две ее предшественницы. (Мой сын Милан принадлежит к тому сорту молодых людей, которые говорят то, что на самом деле думают. “Папа, — сказал он однажды, — у тебя столько потрясающих друзей-женщин, они все восхитительны, с ними тепло, они умеют произвести впечатление, они действительно мне нравятся”. И добавил, выдержав идеальную для комического эффекта паузу: “Так почему же ты встречаешься не с такими женщинами?”)

А когда он и все остальные члены моей семьи познакомились с Элизой, они стали говорить мне: “Наконец-то”. (Тогда Элиза заказала для меня футболки с надписью НАКОНЕЦ-ТО.)

Когда я познакомился с семьей Элизы — с ее отцом, еще тремя детьми и их половинками, — они как раз переживали последствия тяжелой утраты, смерть матери Элизы, Мишель. Даже тогда это была дружная, любящая семья, они глубоко участвовали в жизнях друг друга, будучи щедро одаренными многими талантами. Элиза была

старшей из четверых детей. Ее брат Крис еще до того, как ему исполнилось сорок, сделался партнером в юридической фирме и к тому моменту был первым и единственным чернокожим, который когда-либо сидел на судейской скамье в Верховном суде Делавэра; брат Адам был талантливым художником и автором графических романов; сестра Мелисса успешно работала в сфере финансов. Их отец Норман, ныне пенсионер, также был юристом и успешным политиком, которого в его родном городе Уилмингтон, штат Делавэр, не раз выбирали на ответственные посты.

Они все тепло приняли меня. Норман признался Элизе, что никогда не видел ее более счастливой и, если причина этого — я, его устраивают наши отношения. Мелисса вторила ему, словно эхо: “Попробуй заметить, как счастливо звучит твой голос, — сказала она Элизе однажды, — вы оба прекрасно друг другу подходите”.

Я понравился ее семье! Она понравилась моей семье! Наше счастье во многом основывалось на силе, которую может дать семья. Я чувствовал, что оставил Эдмунда Лича за спиной. Семья больше не была источником моих разочарований.

Но…

Представлялось ли возможным — было ли

это просто приемлемо или этично — говорить о счастье в разгар пандемии? Мы оба заразились и успешно вылечились от вируса COVID-19 в самом начале, в марте 2020 года. Это было непросто. Я болел очень сильно, потом заразилась Элиза, но, даже будучи больной, она продолжала заботиться обо мне. Позже она призналась мне: “Были моменты, когда я думала, что мы не справимся, думала, что, может быть, это конец”. Но мы справились. Каждый вечер люди стучали по кастрюлям и сковородкам, выражая свою признательность медикам, работавшим на передовой. Мы присоединились к ним, чтобы отметить в том числе наше собственное выздоровление.

А потом ангел смерти постучался в каждую дверь. Никто не знал, как победить смертельный вирус. Врачи и медсестры работали сутками и тоже умирали. Больницы стали местами, куда людей привозили умирать. Если тебя подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, шансов, что тебя с него снимут и ты будешь жить, почти не оставалось.

22 августа 2022 года я узнал, что значит быть на аппарате искусственной вентиляции легких. Было невозможно — в тот момент — думать о гигантской трагедии, которой стала пандемия,

гораздо большей, чем моя собственная.

За время пандемии Элиза потеряла двух своих любимых дядюшек. В нашей семье никто не умер, но безвременно скончался один из моих близких друзей, а еще очень многие были на грани, но выжили. Моя невестка, жена Зафара, Натали, болела очень тяжело и была госпитализирована, и какое-то время мы боялись, что потеряем ее. Ее выздоровление стало огромным облегчением, но поправлялась она очень долго и медленно. И я не мог поехать в Лондон повидаться с родными, а они не могли приехать ко мне в Нью-Йорк; это длилось два года — эти года казались столетиями.

Миллионы людей умерло, а я здесь распинаюсь о том, что счастлив? Да и помимо пандемии мир находится в состоянии кризиса. Америку раскалывают на две части радикально настроенные правые, в Соединенном Королевстве страшный разброд, Индия стремительно несется к авторитаризму, свободу повсюду атакуют подавшиеся вправо левые и накладывающие запреты на книги консерваторы, сама планета находится в отчаянном положении — беженцы, голод, нехватка воды, война на Украине. Заявлять вот в такой исторический момент: “Я счастлив” — разве

это не роскошь? Не намеренная слепота, упрямая и эгоистичная? Не то самое, в чем состоит вина “Генри Уайта”, героя моего неоконченного рассказа, — счастье как форма привилегии, необъяснимая наглость? Не форма побега от реальности в узость солипсизма “возделывать свой сад”? Какое право имеет человек претендовать на подлинное счастье в нашем практически постоянно несчастном мире?

И все же сердце знало то, что знало, и настаивало на своем.

В субботу 1 мая 2021 года мы с Элизой отмечали нашу четвертую годовщину. Так, как могли это сделать в условиях продолжающихся пандемийных ограничений. Мы решили ненадолго поселиться в отеле с видом на парк. Нам повысили категорию забронированного номера до сьюта на 25-м этаже, так что вид оттуда открывался сказочный. После ужина Элиза смущаясь напомнила мне, что несколько месяцев назад я спросил у нее, какой размер колец она носит. Я хотел знать это в качестве общей информации, уточнила она, или сейчас, по прошествии четырех лет, этот вопрос был задан с какой-то конкретной целью?

— Подожди минутку, я сейчас вернусь — ответил я, встал и отправился в спальню.

Мой внезапный уход вкупе с бесстрастным выражением лица заставили ее переживать. Не дала ли она маху, размышляла Элиза. А потом я вернулся, протянул ей маленькую фиолетовую коробочку и сообщил ответ на ее вопрос. Это был один из очень немногих моментов, когда мне удалось ее полностью удивить.

Так произошла наша помолвка высоко в небесах над Центральным парком, и в каком бы положении ни пребывал тогда мир, никто бы не мог сказать, что мы не самые счастливые из людей.

— Ты — мой человек, — сказала она.

— Ты — мой человек, — ответил я.

Как сыграть приватную свадьбу в век нулевой приватности: 1. Не делай этого в Нью-Йорке. 2. Сделай это в Уилмингтоне, штат Делавэр, где выросла Элиза и никто не слышал твоего имени. Когда мы пришли получать свидетельство, дама-чиновница вписала в него мое имя, явно услышав его впервые. Мне пришлось диктовать ей его по буквам. 3. Пригласи своих друзей на обед и предупреди: никаких соцсетей.

Вот и все.

Мы поженились в пятницу, 24 сентября 2021 года, об этом знали все наши друзья и род-

ственники, однако это ускользнуло от широкой общественности и оставалось неизвестным для нее на протяжении почти что года, и, наверное, продолжало бы оставаться таковым и по сей день, если бы не нож.

Это был чудесный день. Погода, наши друзья, церемония, радость. Мы объединили две наши традиции — надели друг на друга гирлянды (индийская традиция) и перепрыгнули через веник (афро-американская). Она произнесла адресованную мне речь в стихах — поэтический дар — ее суперсила, — и, чтобы поддержать величие момента, я включил в свои гораздо более прозаические слова, обращенные к ней, стихотворение э.э. каммингса “я ношу твое сердце в себе (твое сердце в моем)”:

я ношу твое сердце в себе (я ношу

его внутри своего) я не отпускаю его никогда (всюду

куда я иду идешь со мной ты, дорогая; и все что сделано

мною это то что сделала ты, моя любимая)

я боюсь

не судьбы (ведь моя судьба это ты, моя

милая) я хочу

не миром владеть (ведь мой мир это твоя красота, моя настоящая)

это ты есть все то что вовеки несет нам луна

и все о чем только поет нам солнце тоже ты

это самый страшный секрет о котором не знает никто

(это корень всех корней и ствол всех стволов

и небо всех небес у дерева которое зовется жизнью; оно вырастает

выше чем может верить душа и разум втайне стремиться)

это то чудо что сохраняет все звезды на небе

я ношу твое сердце в себе (я ношу его внутри своего)

Моей семьи не было на свадьбе, поскольку в это время США из-за коронавируса не допускали на свою территорию иностранцев. Мы взяли на церемонию ноутбук и установили его на подиуме,

так что они наблюдали за всем происходящим из Лондона посредством новшества, именуемого *Zoom* и ставшего столь необходимым. Друзья и члены семьи говорили весело и трогательно. Сестра Элизы по поэтическому цеху Араселис Гирмай зачитала поэтический коллаж из многих стихотворений. После того что Хемингуэй назвал бы изысканным обедом (мы ели с благодарностью, и еда была отличной), мы, то есть Элиза, я и ее семья вместе с фотографом и его ассистентом отправились делать свадебные фотографии в изящный сад Мариан Коффин у подножия огромного здания под названием “Гибралтар”, которое сейчас пустует и ветшает. Через пару дней мы улетели в Лондон, где провели небольшое послесвадебное торжество для моей семьи и друзей по ту сторону океана. Я чувствовал, что моя жизнь получила новое начало.

Однако горе поджидало нас, до него оставалось меньше года.

Милан, Сардиния, Капри, Амальфи, Рим, Умбрия. Лето 2022 года. После затяжного пандемийного ретрита Италия казалась чудом, она заключила нас в жаркие дружеские объятия. Очень жаркие, если быть точным. Жара стояла аномальная, реки пересохли. Было невозможно

выйти на улицу на полуденное солнце. Но Италия обновила нас. Она забирает у тебя старые поношенные части, вместо которых на нужных местах вырастают новые. Италия была улыбкой и праздником. Италия была музыкой. Мы провели там месяц. В Милане мы ужинали в моем излюбленном ресторанчике “Риголо” в районе Брера, и мне было приятно, что его владельцы вспомнили меня. На Сардинии я отметил свой семьдесят пятый день рождения в доме своих дорогих друзей среди гористого пейзажа, напоминавшего мне мир в романе, который я только что закончил, а хозяин, Стив Мерфи, в качестве подарка на день рождения спел, аккомпанируя себе на гитаре, одну из моих любимых песен Боба Дилана *“Love Minus Zero/No Limit”*. В Амальфи и Равелло мы снова встретили старых друзей, Альбу и Франческо Клементе, ночью на фестивале, посвященном святому Андрею. В 1544 году этот святой наслал шторм, разрушивший флот сарацинов, прибывший сюда, чтобы завоевать город, и с тех пор является святым покровителем для всех местных жителей, что ходят в море. Сначала люди подносят его статую к воде на паланкине, чтобы он мог благословить лодки. Затем проносят святого по улицам города и, на-

конец, поднимают по крутым ступеням в собор — любой неверный шаг, и произошла бы беда, но никто не сделал неверного шага. После шествия со статуей святого был фейерверк, мы смотрели его с террасы дома Альбы, расположенного высоко на горе над городской площадью, и нам казалось, что удивительные вспышки сверкают непосредственно перед нами. В Риме было слишком жарко, чтобы просто двигаться, и я купил Элизе веер (в Милане я купил ей сумку). В Умбрии мы участвовали в знаменитом писательском ретрите Чивителла Раньери, который проходит в замке XV века, принадлежащем семье Раньери. У них есть другой замок, где они живут, так что это их второй, запасной замок, но для нас он оказался весьма хорош. Мы отлично поработали там и приобрели много новых друзей. Днем мы писали, а вечером наступало время хорошей еды, вина и разговоров далеко за полночь. Я играл в пинг-понг с писателями в два раза моложе и не посрамил себя. В один из дней мы съездили в Ареццо и осмотрели фрески работы Пьеро делла Франческа, отдали должное памятнику Гвидо из Ареццо, изобретателю современной системы нотной записи, нотные станы, музыкальные ключи и все прочее. Я правил верстку “Города Победы”,

и мне она нравилась.

Вырвавшись из этих прекрасных объятий, мы вернулись в Америку, поскольку Элиза создала фото- и видеоработы, которые составили визуальный ряд к “Кастор и Пейшенс”, новой опере, созданной Грегори Спирсом на стихи подруги Элизы, поэтессы Трейси К. Смит. Премьера оперы должна была состояться в Цинциннати в четверг 21 июля. Смена местоположения с итальянского замка на Цинциннати казалась немного радикальной, но премьера прошла успешно, и работу Элизы хвалили.

После этого нам оставалось еще двадцать дней нашей прежней жизни. Я начал планировать поездку в Лондон, чтобы повидаться с родными. В четверг 28 июля я внес самые последние, заключительные правки в верстку “Города Победы”, и роман был готов к печати. Во вторник 9 августа мы прочли, что Серена Уильямс планирует уйти из спорта после турнира *U. S. Open*. Конец эпохи, подумали мы вместе со всеми вокруг. В ту ночь мне приснилось, что на меня нападает гладиатор. В среду 10 августа мы устроили вечером свидание в итальянском ресторане под названием “Аль Коро”.

Мелочи повседневной жизни.

А потом, утром в четверг 11 августа, я в одиночестве улетел из аэропорта Джона Кеннеди в Баффало, откуда красивая женщина по имени Сандра отвезла меня по берегу озера Эри в Чатокуа.

Мы планировали, что Элиза поедет навестить своих родных в Делавэр, а я на неделю отправлюсь в Лондон к своим. Однако Элиза решила остаться в Нью-Йорке и устроить мне сюрприз, когда я вернусь из Чатокуа: мы сможем пробыть вместе ночь перед тем, как разъехаться по семьям. В это же время в Лондоне мои сыновья Зафар и Милан, моя сестра Самин и мои племянницы Майя и Мишка были воодушевлены моим скорым приездом, а Зафар рассказывал своей еще даже не двухлетней дочери Роуз, что скоро она познакомится с Дедушкой, что он придет на ее занятие по плаванию и будет наблюдать за тем, как она бултыхается. И мои издатели из *Random House* назначили мне встречу через *Zoom*, на которой вскоре после моего возвращения мы должны были обсудить подробности, связанные с выходом моей книги. Казалось, все шло хорошо.

А потом мир взорвался.

Подруга Элизы Сафия Синклер позвонила ей утром и дрожащим голосом спросила, все ли с

ней в порядке. Так Элиза узнала, что на меня напали. А после она кричала возле телевизора, пока бегущая строка внизу экрана в эфире CNN не подтвердила эту новость. Казалось, что целую вечность было не получить подробной или надежной информации. Телефон звонил не переставая. Слухи были доступны вместо фактов, что только усиливало ее мучения. Я умер. Я ранен, но не убит. Меня поставили на ноги, и я покинул сцену в полном порядке.

В далеком Лондоне, который внезапно оказался таким далеким, как никогда прежде, словно Атлантический океан в одно мгновение увеличился в размерах, мои родные тоже нетерпеливо разыскивали новости с ужасом, написанным у всех на лицах. Они звонили Элизе, она звонила им, и никто не был ни в чем уверен. Источники Зафара в соцсетях сначала также не были надежны. Меня ударили ножом пять, нет, десять раз. Нет, со мной все в порядке. Нет, меня ранили пятнадцать раз. В Лондоне день подходил к концу, начинался вечер, большая часть моей семьи собралась дома у Самин, просто чтобы быть вместе, и правда медленно прояснилась.

Меня доставили по воздуху в ближайшую больницу. Шансы, что я выживу, были очень

невелики. Это станет ясно за ближайшие двадцать четыре часа.

В Нью-Йорке Элиза пыталась найти самый быстрый способ добраться туда, где был я. Ее телефон разрывался. Это был кромешный ад.

Кто-то позвонил ей — потом она не смогла вспомнить, кто это был — и сообщил, что ей следует поторопиться, поскольку вряд ли мне удастся выжить. Ее мир рассыпался на куски. Исполненная любви жизнь, которую мы выстраивали на протяжении пяти последних лет, подошла к жестокому концу. Ночной кошмар пересек границу между сном и явью и сделался реальностью. Картина ее мира рассыпалась, ошметки валялись под ногами.

В своей великой книге “Человек ли это?” Примо Леви говорит, что “безграничного счастья в жизни быть не может”[8], как и, по его предположению, не может быть и безграничного несчастья. В тот момент Элиза, наверное, не согласилась бы с ним. Безграничным несчастьем называлась страна, в которой она отныне проживала.

---

[8] Примечания: 8
Перевод Е. Дмитриевой.

Она поговорила с моими литературными агентами, Эндрю Уайли и Джином О. Эндрю плакал. Мы дружим тридцать шесть лет, и во время того шторма, что обрушился на меня после публикации “Сатанинских стихов” и фетвы Хомейни, он оставался моим самым преданным товарищем. Мы вместе прошли ту войну, а теперь еще и это? Он не мог этого вынести. Но в тот момент надо было действовать, а не плакать. “Тебе нужно ехать туда прямо сейчас”, — сказали они Элизе. На машине дорога займет не менее семи часов. У нее не было семи часов. Единственным решением оставался самолет.

Мы не принадлежим к тем людям, что арендуют частные самолеты. У нас нет таких денег. Но в тот момент деньги не имели значения. Важно было только одно — добраться. Воспользоваться картой *Amex* и беспокоиться о деньгах после. Эндрю и Джин нашли для Элизы самолет. Он ждал на посадочной полосе в Уайт-Плейс, Нью-Йорк. Это обойдется в двадцать с лишним тысяч долларов. Ничего страшного.

— Поезжай, — велели они.

Она поехала, ее сестра Мелисса и муж Мелиссы Эмир Браун, скромный школьный учитель из Бруклина, поехали вместе с ней. Всю дорогу Элиза

тащила с собою ношу тех слов, что услышала в телефоне — *вряд ли ему удастся выжить*, — слов, после которых ничто не может утешить.

В то же время в Вашингтоне ее брат Адам вместе со своим мужем Джеффом Лиже прыгнули в машину и помчались на северо-запад, по направлению к озеру Эри. В Уилмингтоне ее брат Крис тоже прыгнул в машину и помчался туда же.

Вот как повели себя родственники. Элиза (для них она Рэйчел), конечно, была в семье любимицей. Но теперь и я был их семьей, и они должны были быть там для меня так же, как и для нее.

Ей звонили из полиции штата Нью-Йорк. Звонили из полиции штата Пенсильвания. Вертолет доставил меня через границу штата в больницу Хэмот, Медицинский центр университета Питтсбурга, Пенсильвания, за пятьдесят с лишним километров от расположенного на озере Эри Чатокуа, в "единственный аккредитованный центр травмы в регионе Эри", как пишут в интернете, который был по этой причине единственным местом, где у меня был шанс выжить.

Вряд ли ему удастся выжить.

Когда самолет сел, повсюду были полицейские машины. К этому моменту новость разлеталась по миру. В аэропорту и в больнице был уста-

новлен усиленный режим безопасности. Элизу, Мелиссу и Эмира посадили в полицейский автомобиль и повезли в Хэмот. В машине никто особо ни о чем не рассказывал. *Мне не хотят говорить, что он умер*, думала Элиза. *Меня везут, чтобы я сама увидела мертвое тело мужа.*

Я не умер. Я был на операции, и множество хирургов одновременно трудились над разными частями моего израненного тела. Моя шея, мой правый глаз, моя левая рука, моя печень, мой живот. Резаные раны на лице — лоб, щеки и рот — и на груди. Операция продолжалась где-то около восьми часов.

И когда она закончилась, я был на аппарате искусственной вентиляции легких, но не умер.

Я был жив.

Год спустя моя невестка Натали прислала мне несколько заметок, которые она написала через несколько недель после нападения и где описала первые сутки. Когда Зафар узнал эту новость, говорит она, он был потрясен. “В нем что-то сдвинулось”. В Лондоне было около полуночи, когда Элиза позвонила им из больницы. Она была рядом с врачом и включила громкую связь. Врач сказал всем готовиться к худшему, поскольку шансов, что я выживу, почти нет. Когда он опи-

сывал полученные мной повреждения, Натали слышала, как Элиза горестно восклицает: “*Нет, пожалуйста, нет*!” Той ночью Зафар и Натали лежали в темноте и “мир казался таким тяжелым, тихим и темным”. Зафар проплакал всю ночь. “Его плач звучал, как слезы ребенка, который хочет обнять своего отца, — написала Натали. — Он знал, что, если уснет, может получиться так, что его отца уже не будет с нами, когда он проснется”. Но на следующий день Элиза позвонила снова. Я очнулся и пришел в сознание, хотя все еще находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Она поднесла телефон к моему уху, чтобы Зафар смог сказать, как сильно он меня любит. Я услышал его и пошевелил большими пальцами на ногах, и когда Элиза сказала ему об этом, Зафар заплакал от радости.

Позднее мы узнали, что А. поместили в окружную тюрьму Чатокуа, отказав в возможности выйти под залог. Против него выдвинули обвинения в покушении на убийство и нападении при отягчающих обстоятельствах. Еще позднее мы с Элизой познакомились с Шерри, агентом ФБР, который навестил меня в больнице, чтобы заверить, что федералы работают над моим делом “не покладая рук”, чтобы привлечь его также

и по статье о терроризме. Федералы и полиция штата приходили, чтобы взять у меня показания, и остались под впечатлением от того, какая у меня хорошая память. Возможно, это была простая вежливость. Еще позднее мы узнали, что “тридцать тысяч улик” были найдены у него в подвале в Нью-Джерси — все, что было в его ноутбуке, все его сообщения и мейлы, предположили мы. Все это казалось нам — казалось мне — очень абстрактным. Конкретным в эти первые дни было лишь простое: выжить.

Жить. Жить.

3. Хэмот

Когда я пришел в себя, у меня начались видения. Они были архитектурными. Я видел чудесные дворцы и другие впечатляющие сооружения, выстроенные из букв. В качестве кирпичей при создании этих фантастических конструкций использовались буквы, словно бы мир состоял из слов и был создан из того же главного материала, что язык и поэзия. Не было значительной разницы между вещами, созданными из букв, и историями, созданными из них же. Суть их была едина. В видениях, как по волшебству, появлялись крепостные стены, огромные залы, высокие купола, как роскошные, так и аскетичные, то облицованный зеркалами Могольский Шиш-махал, то каморка с каменными стенами и зарешеченными окнами. Нечто вроде стамбульской Айя-Софии являлось мне в моем замутненном мозгу, и Аль-Гамбры, и Версаля; вроде Фатехпура-Сикри, и Красного форта в Агре, и озерного дворца в Удайпуре, но также и еще более мрачная вариация испанского Эскориала, пугающая, пуританская, похожая скорее на кошмар, чем на сон. Когда я присмат-

ривался к ним, то всегда видел буквы — сияющие зеркалами буквы, мрачные каменные буквы, буквы-кирпичи и драгоценные буквы-алмазы, золотые буквы. Через какое-то время я осознавал, что мои глаза закрыты. Тогда я все еще думал о своих глазах во множественном числе.

Я открыл глаза — только левый глаз, как я смутно понял; правый был закрыт мягкой повязкой — но видения не исчезли, а лишь стали более призрачными, прозрачными, и я стал понемногу осознавать свою реальную ситуацию. Первым, более тяжелым и наименее приятным открытием был аппарат вентиляции легких. Позднее, когда меня сняли с него и я смог говорить, то признался, что ощущение было, словно мне в горло засунули хвост броненосца. А когда его извлекали, ощущение было, словно хвост броненосца *вытягивают* у меня из горла. Я пережил ковид без вентиляции легких. Но тут ее было не избежать. И хотя у меня в голове все плыло, я вспомнил начало пандемии, когда очень немногие из тех, кого сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, выживали.

Я не мог разговаривать. Но в моей палате сидели люди. Пятеро, а может быть, шестеро. Тогда еще у меня было плохо со счетом. Буквы пла-

вали в воздухе между мной и ними. Возможно, они, эти люди, не существовали. Возможно, они тоже были галлюцинацией. Я был на сильных обезболивающих. Фентанил, морфин. Они могли быть причиной галлюцинаций. Возможно, они также стали причиной присутствия в палате этих фантомов.

Это не были фантомы. Это были Элиза, Мелисса, Эмир, Крис, Адам и Джефф. По воздуху и по земле, все они прибыли сюда к моменту моего пробуждения. На мне не было очков — они разбились во время нападения или, может, во время последовавшей за ним суматохи, — так что люди выглядели размытыми, что, наверное, было и к лучшему, поскольку я не мог разглядеть мрачного выражения на их лицах. Они смотрели на то, чего не мог видеть я: на меня. Мою шею и щеку справа нож прорезал насквозь, и они видели два края раны, скрепленные вместе металлическими скобами. Вдоль моей шеи, ниже подбородка, шел глубокий горизонтальный порез, который тоже закрыли при помощи скоб. Им было видно, что моя шея гротескно вздулась и была темной от крови. Они видели, что засохшая кровь на моей левой руке выглядит точно как стигмата. На рану были наложены повязки, а рука была жестко

зафиксирована лангетом. Потом, когда пришла медсестра, чтобы обработать мой уничтоженный глаз, Элиза и все остальные увидели то, что было похоже на спецэффект из фантастического фильма, — сильно раздувшийся глаз, выпученный наружу из глазницы, болтающийся у меня на лице, как огромное свежесваренное яйцо. Отек был таким сильным, что в эти первые дни врачи даже не знали, сохранилось у меня веко или нет. (Сохранилось.) Элиза и остальные могли видеть трубку от аппарата вентиляции легких у меня во рту, и на тот момент никто не мог им сказать, когда ее можно будет вынуть и можно ли будет это сделать. Им сказали, что мое сердце “травмировано”. Они не знали, выживу ли я и, если выживу, в каком буду состоянии. Все это было написано у них на лицах, но эти лица расплывались. В своем анальгетическом полусознательном состоянии я был просто рад, что они здесь.

(На протяжении многих недель Элиза не разрешала мне посмотреться в зеркало, так что я не имею представления, как ужасно выглядел. Врачи и медсестры приходили осматривать меня и говорили: “Вы выглядите намного лучше”, и я верил в эту их ложь, потому что хотел в нее верить. Глубокой ночью в отделении травмато-

логии больницы Хэмот, Медицинского центра университета Питтсбурга, я слушал ночные стоны умирающих в соседних палатах, и самый большой вопрос — жизнь или смерть? — все еще не имел четкого ответа.)

Элиза была рядом со мной, она не выказывала, как переживает и боится, зная, что ради меня должна быть сильной и любящей. Она сказала:

— Пошевели ногой, если ты меня понимаешь.

Моя нога осталась недвижима, и Элизу охватило отчаянье. Быть может, нож вошел в мой глаз настолько глубоко — он вошел глубоко, до самого зрительного нерва, — что повредил также и мой мозг.

Немного позже, когда я был менее растерян и мог лучше понимать, что от меня хотят, я начал шевелить ногой: один раз означало “да”, два — “нет”, и даже в своем замутненном состоянии смог ощутить волны облегчения, омывшие палату.

Теперь, когда они знали, что я их понимаю, они могли разговаривать со мной. Эмир приблизился, сел около моей головы и сказал, что хочет мне кое-что прочитать. Это было заявление президента Байдена, которым он отреагировал на нападение. Эмир прочел его медленно и ласково

мне в ухо:

> Мы с Джилл были шокированы и опечалены новостью об умышленном нападении на Салмана Рушди, произошедшем вчера в Нью-Йорке. Мы вместе со всеми американцами и людьми со всего мира молимся о его выздоровлении и восстановлении. Я благодарен тем, кто отреагировал первыми, смелым людям, которые сделали все, чтобы оказать Рушди помощь и обезвредить нападавшего.
>
> Салман Рушди – с его глубинным пониманием человечности, непревзойденным мастерством рассказчика, с его отказом изменить свою позицию или замолчать – отстаивает насущные, универсальные идеалы. Правда. Сила духа. Стойкость. Способность без страха высказывать свои суждения. Это краеугольные камни любого свободного и открытого общества. И сегодня мы в очередной раз подтверждаем свою приверженность этим глубоко американским ценностям в знак солидарности с Салманом Рушди и всеми, кто борется за свободу слова.

Когда Смерть подходит к тебе очень близко, весь остальной мир оказывается очень далеко, и ты чувствуешь великое одиночество. В такие моменты добрые слова успокаивают и придают сил. Благодаря им ты чувствуешь, что ты не один, что, может статься, ты жил и работал не зря. За следующие двадцать четыре часа я узнал, как много любви струилось ко мне, какая обрушилась лавина ужаса, поддержки и обожания со всего мира. Помимо обращения президента Байдена, сильные слова были сказаны французским президентом Макроном: “На протяжении тридцати трех лет Салман Рушди являлся воплощением свободы и борьбы с обскурантизмом. Сейчас он стал жертвой подлого нападения сил, за которыми стоят ненависть и варварство. Его битва — это наша битва, она универсальна. И теперь, даже больше чем когда-либо прежде, мы поддерживаем его”. Были и другие похожие заявления мировых лидеров. Даже Борис Джонсон, в то время занимавший пост британского премьер-министра, некогда написавший статью о том, что я не достоин рыцарского титула, полученного мной в июне 2007 года “за заслуги перед литературой”, поскольку я не очень хороший писатель, нашел несколько неискренних банальных фраз.

Индия, родная для меня страна и главный источник моего вдохновения, в тот день никаких слов не нашла. И, естественно, звучали голоса, выражавшие радость по поводу случившегося. Если тебя превратили в объект ненависти, найдутся люди, которые тебя ненавидят. Так происходит на протяжении тридцати четырех лет.

Друзья отправляли мне на телефон сообщения, хотя знали, что я не смогу их прочесть. Друзья писали электронные письма и оставляли голосовые сообщения, хотя знали, что это бессмысленно. Они публиковали обращенные ко мне посты в Фейсбуке и в Инстаграме. *Пожалуйста, пожалуйста, поправляйтесь*.

Последним, что я выложил в Инстаграм, была сделанная мною фотография полной луны над озером в Чатокуа, я снял ее ночью накануне нападения. “Думаем о вас”, — написали десятки людей в комментариях к ней. “Думаем о вас, зажигаем свечи в пустыне”. “Так много людей, близких и далеких, любят вас и нуждаются в вас. Мы все за вас переживаем”. “Надеюсь, ваше умение противостоять невзгодам снова проявится в полную силу”. “Я опустошен”. “Пусть звезды выстроятся для того, чтобы помочь вам, раз это не удалось луне”. “Поправляйтесь, поправляйтесь,

преодолейте это". "Мы любим вас". "Мы любим вас". "Мы любим вас".

Многие люди рассказывают, что молились за меня. Даже зная, что я чертов безбожник.

— Я думала, что тебя нет, — намного позже призналась мне моя подруга, художница Тарин Саймон, — мы все думали, что тебя нет. Я думала, что потеряла тебя. Это было самое тяжелое чувство, что я когда-либо испытывала.

А после была реакция обычных людей — читателей, нечитателей, людей, с которыми я не знаком, просто хороших людей, испуганных случившимся. Самин зачитывала мне некоторые такие послания по телефону из Лондона перед тем, как села на самолет в Америку. Я еще не был в достаточно ясном сознании, чтобы четко понимать все, что происходило за пределами моей больничной палаты, но я чувствовал это. Я всегда верил, что любовь — это сила, самая мощная сила, что она способна двигать горы. Она способна изменить мир.

Я понял, что из-за странностей своей жизни я оказался в самом центре битвы между тем, что президент Макрон назвал "ненавистью и варварством" и целительной, объединяющей и дающей вдохновение силой любви. Женщина, которую

я любил и которая любила меня, была рядом со мной. Мы победим в этой битве. Я буду жить.

На тот момент палата стала для меня миром, а мир — игрой со смертью. Я должен был выйти из игры и вернуться в большую, более привычную реальность, и для этого пройти через несколько испытаний, как физических, так и нравственных, как это бывает с героями мировой мифологии. Мое здоровье — моя жизнь — было для меня золотым руном, и я пытался плыть за ним. Кровать в этой истории была "Арго", палата была морем, и море это было опасным миром.

В какой-то момент на протяжении этих долгих двадцати четырех часов после операции, когда моя жизнь висела на волоске, мне приснился Ингмар Бергман. Точнее говоря, я видел знаменитую сцену из "Седьмой печати", в которой Рыцарь, возвращающийся из крестового похода, играет в шахматы со Смертью, стараясь оттянуть, насколько это только возможно, свое неминуемое поражение. Это был я. Я был Рыцарем. И мое положение в шахматной партии сильно ухудшилось по сравнению со временем учебы в колледже.

Отделение травматологии в Хэмоте не было тихим местом. Из-за моего присутствия больницу полностью закрыли по соображениям безопас-

ности, было много охраны. Если Элиза хотела купить в столовой сэндвич, ее должен был сопровождать охранник. Однако здесь, в отделении травматологии, все было мучительно неуправляемым. Из соседней палаты было слышно, как кто-то громко кричит, прося лекарство, а из другой палаты — стоны того, кому, скорее всего, внимание медиков больше уже не понадобится. Порой звучали рыдания. И Элиза, проходя по коридору мимо палат с умирающими, не могла не думать о том, не постигнет ли и меня та же участь. *Поместят ли и моего мужа в мешок для трупов*?

Это почти случилось. Позже, когда стало ясно, что я буду жить, облегчение, которое испытали врачи, тоже было очевидно.

— Когда вас доставили сюда на вертолете, — сказал мне один из проводивших операцию хирургов, — мы думали, что не сможем спасти вас.

Они смогли спасти меня, но я был так близок к смерти.

Еще один врач сказал:

— Знаете, в чем вам повезло? Вам повезло, что человек, напавший на вас, не имел представления о том, как убить человека ножом.

Вспышка воспоминаний: его черный силуэт, удары с размаху, не совсем в точку. И ведь все почти получилось. Мой глупый, злой А.

Днем 13 августа было принято решение снять меня с вентиляции легких. Этот хвост броненосца извлекли из меня, и это было так же противно, как звучит. Однако за этим последовала хорошая новость. Я мог хорошо дышать самостоятельно. И я раскрыл рот, а оттуда вышли слова.

— Я могу говорить, — сказал я.

Это было началом контрнаступления. Для Элизы это было началом надежды. Я был жив, я мог дышать, а все остальное вернется со временем. (Мы отказывались думать: *может быть*. Мы отказались от может быть вместе. Никаких может быть не будет. Будет только так.)

Элиза не оставляла меня одного в моей палате отделения травматологии. Остальные провели несколько ночей в местном отеле перед тем, как устремиться обратно в свои прервавшиеся жизни. Мой сын Зафар приехал из Лондона, а еще через пару дней приехала и Самин. Они тоже снимали комнаты в отеле. Но Элиза оставалась со мной. Это было непросто. Больница находилась в неблагополучном районе, как ей сказали.

Ей было небезопасно ходить одной, даже пару кварталов до магазина “Уолгринс”, чтобы купить необходимые мелочи.

В качестве кровати она использовала подоконник, накрытый подушками. Это было, наверное, ужасно неудобно, но к тому моменту Элиза уже включила супергеройский режим. Она не выказывала ни горя, ни страха, ни усталости или стресса, а лишь только любовь и силу. Во время моей величайшей слабости она стала для меня — для нас — несокрушимой скалой. Каждый, кто попадал в поле зрения, должен был держать перед ней ответ — врач объяснял принятые решения, медсестры описывали, как именно они собираются мне помогать, офицеры полиции из Нью-Йорка и Пенсильвании и агенты ФБР, посещавшие меня, все должны были пройти через нее.

Она решила удостовериться, что мои больничные расходы будут покрыты за счет страховки Университета Нью-Йорка. Она дошла до заместителя декана Колледжа искусств и наук, очень отзывчивой женщины, которая заверила, что по страховке будет сделано все, что следует. Элиза уже начала планировать наше возвращение в Нью-Йорк. Сколько будет стоить использование

санитарного самолета? Покроет ли моя страховка эти расходы? (Нет. На это рассчитывать не стоило.) Тогда ладно. Есть ли самолет, который мы сможем арендовать? Когда это случилось, мы знали крайне мало людей, владеющих самолетами, — эти люди не принадлежали к миру литературы, но мы знали еще несколько людей, знавших одного или двух человек, владеющих самолетами, и по крайней мере трое из них любезно предложили свои самолеты нам. Но в конце концов реализовать эту возможность оказалось слишком сложно. Где находятся эти самолеты? Смогут ли они оказаться около нас, когда это понадобится? Есть ли на них медицинское оборудование? Можно ли будет разместить там необходимую нам технику для оказания неотложной помощи плюс медицинских работников, которые должны будут нас сопровождать, плюс охрану? К тому же… На самом деле я не хотел быть обязанным даже самому щедрому человеку. Элиза разыскала в Хэмоте человека, который поможет нам арендовать карету скорой помощи и отыщет людей, которые смогут поехать на ней с нами. Элиза начала договариваться с полицейскими. Практически сразу полиция штата Пенсильвания согласилась сопровождать нас до

самой границы штата, а полиция штата Нью-Йорк — встретить там и сопроводить до Нью-Йорка. На Манхэттене меня отвезут в реабилитационный центр Раск, с которым договорилась Элиза, он входит в состав системы больниц Университета Нью-Йорка Лангон и считается одним из лучших реабилитационных стационаров в стране. Она удостоверилась, что в больнице Раск есть свободная палата и что она будет готова для нас тогда, когда нам это понадобится.

“Когда нам это понадобится” — до этого момента было еще более двух недель. Но Элиза уже все организовала.

Полночь с 14 на 15 августа всегда имела для меня особое значение. В это время в далеком 1947 году Индия обрела независимость от британского правления. В это же время родился и придуманный мною персонаж, Салем Синай, антигерой и повествователь в “Детях полуночи”. Я привык называть индийский День независимости “Днем рождения Салема”. Однако в этом году День независимости приобрел значение и для меня лично.

Понедельник 15 августа, День Третий. Тот день, когда стало ясно, что я продолжу жить. Скажем так: мне дарована свобода жить дальше. Именно в такой свободе я был на тот момент более всего

заинтересован.

Мой мозг снова заработал. Его дважды просканировали, и результаты показали, что мозг не пострадал, так что оправданий, чтобы отказываться работать, у него больше не было. Это было, пожалуй, самой большой удачей из всех: пройди лезвие на миллиметр в сторону, я бы лишился способности мыслить, но теперь, поправившись, я снова мог стать собой.

Меня сняли с по-настоящему сильных обезболивающих — когда твою жизнь спасло чудо, не хочется закончить ее опиоидным наркоманом, — так что видения прекратились, о чем я сожалел. Я полюбил свои буквенные дворцы и плавающие в воздухе золотые буквы.

“Мы должны зафиксировать это”. Такой была, пожалуй, моя первая осознанная мысль. Я не знал, как к этому отнесется Элиза, но она тут же с воодушевлением согласилась.

— Это касается большего, чем просто я, — сказал я, — это более важная тема.

Я имел в виду, конечно, свободу, что бы сейчас ни понимали под этим несчастным словом. Но еще я хотел поразмышлять о чудесах, о том, как чудесное врывается в жизнь человека, который никогда не верил в существование чудесного, но

тем не менее посвятил свою жизнь сотворению воображаемых миров, где оно существует. Чудесное — так же, как А. и его жертва — пересекло границу. Это было не путешествие между штатами, а дорога от Фикции к Факту.

Элиза запросила оборудование для видеосъемки. Его должны были доставить из Нью-Йорка через два дня, так что начиная с Дня Пятого мы сможем фиксировать мое физическое состояние, мое выздоровление, мои мысли по поводу нападения, мою работу, мои идеи и мир вокруг. Элиза — признанный фотограф и видеограф (а также романист и поэт — иногда мне кажется, что ее талантам просто нет конца), так что посторонней помощи нам не потребуется. Это будет попрание смерти и торжество жизни и любви, а также, более приземленно, взгляд со стороны на причиненный вред.

Еще до того, как у нас появились камеры, мы начали записывать свои разговоры на телефон Элизы.

> *Милый, как ты себя сегодня чувствуешь? Как твое состояние, дорогой? Сегодня День Четвертый, с тех пор как наши жизни изменились навсегда.*

Знаешь… то лучше, то хуже. Но вокруг меня люди, которых я люблю. В первую очередь ты. Так что я справлюсь.

Мы пройдем через это. У нас еще есть истории, которые нужно рассказать. У нас есть и самая важная история, наша любовь.

Это правда.

Сегодня еще один хороший день. Еще один хороший день для нас, когда мы вместе.

Это все благодаря тебе. Ты все делаешь.

Ты сделал самое важное. Ты не умер.

Бедный мой костюм от Ральфа Лорена.

Мы купим тебе другой. Просто зайдем в магазин Ральфа Лорена и скажем: Дайте этому мужчине костюм.

Я думаю, они могут отдать мне его просто так.

Как твоя рука, дорогой?

Тяжелая. Как будто у меня с плеча свисает еще одна дополнительная рука.

Я люблю тебя. Мы это преодолеем.

Я тоже тебя люблю.

Я был не в том состоянии, чтобы говорить о свободе. Это слово стало минным полем. С тех самых пор, как консерваторы начали заявлять на него свои права (Башня Свободы, даже жареная картошка — картошка фри, то есть свободная), либералы и сторонники прогресса начали отказываться от него в пользу нового определения социального блага, согласно которому людям больше не придется спорить о новых нормах. Защита прав и тонкой душевной организации групп, которые принято считать уязвимыми, будет иметь приоритет над свободой слова, которую нобелевский лауреат Элиас Канетти назвал “спасенным языком”. Этот отход от принципов, изложенных в Первой Поправке дал правым возможность присвоить сей освященный веками фрагмент Конституции. Первая Поправка — это то, что сегодня разрешает консерваторам лгать, оскорблять, клеветать. Она стала своего рода правом на ксенофобию. Это право влечет за собой и новую социальную повестку, которая во многом звучит как старая: авторитаризм, состряпанный беспринципными средствами массовой

информации, большие деньги, нечистоплотные политики и коррумпированные судьи. Все это, все сложности, порожденные новыми идеями о том, что хорошо, а что плохо, вкупе с моим желанием защитить идею свободы — идею Томаса Пейна, идею Просвещения, идею Джона Стюарта Милля — от этих новшеств, я не мог выразить. Мой голос был тихим и слабым. Мое тело находилось в состоянии шока. Говорить о чудесах — пожалуй, это ровно то, на что я был способен тогда.

Элиза рассказала мне, что многие говорили: “Вас защитила некая мощная неземная сила”.

Что мне было делать с этой мыслью? Я был атеистом всю свою жизнь, я был сыном атеиста и отцом еще двух атеистов, один из которых не особенно распространяется о собственном атеизме (Зафар), а другой звонит о нем во все колокола (Милан). И вот теперь мне вдруг предлагают поверить в то, что с небес протянулась рука, чтобы спасти жизнь того, кто не верует? И что дальше? Если чудеса реальны, что думать обо всем остальном? О жизни и смерти? Рае и аде? Спасении? Проклятии? Это было слишком.

Однако в течение полувека я, верящий в науку и здравый смысл, я, которому не было дело до богов с богинями, писал книги, в которых зако-

ны науки часто оказывались попраны, а люди были телепатами, либо по ночам превращались в жутких чудовищ, либо падали с самолета с километровой высоты и выживали, только рога начинали отращивать; была книга, в которой человек старел в два раза быстрее, чем на самом деле, в другой человек начинал парить в полутора сантиметрах над поверхностью земли, а в третьей женщина прожила на свете двести сорок семь лет.

Так чем же я занимался на протяжении этих пятидесяти лет?

Я хотел сказать: искусство есть воплощенная мечта. И воображение способно выстроить мост через залив, отделяющий мечту от реальности, оно позволяет нам по-новому понимать реальность благодаря тому, что мы смотрим на нее сквозь призму нереального. Нет, я не верю в чудеса, но да, мои книги верят и, если прибегнуть к формулировке Уитмена, по-твоему, я противоречу себе? Ну что же, значит, я противоречу себе[9]. Я не верю в чудеса, но мое спасение было чудесным. Ну и ладно. Пусть так и будет. Реальность моих книг — вы можете называть ее

[9] Примечания: 9
Уолт Уитмен “Песни травы”, перевод К. Чуковского.

магическим реализмом, если хотите — сделалась сейчас настоящей реальностью, той, в которой я живу. Может статься, мои книги на протяжении десятилетий протягивали этот мост, и теперь чудесное смогло перебраться через него. Магическое стало реализмом. Быть может, мои книги спасли мне жизнь.

Это звучало как бред даже для меня самого. Я пытался прийти в согласие с собой.

— Давай запишем что-нибудь, — сказал я.

В День Пятый, к моему удивлению, бедолага А. совершил ошибку и из окружной тюрьмы Чатокуа дал интервью Стивену Ваго и Бену Кесслену из “Нью-Йорк пост”. Его обвиняли в покушении на убийство и нападении при отягчающих обстоятельствах, но он не признал своей вины. (Не признал вины за преступление, совершенное на глазах у огромное толпы свидетелей? Возможно, ты сказал так, подумал я, но я не уверен, что это сработает.) На фотографии в газете у него были большие уши и несуразная борода — на самом деле, это была сделанная в полиции фотография, которую передали в “Пост” из управления шерифа округа, — и он выглядел невозможно, даже прекрасно юным, и по его спокойному выражению лица можно было предположить,

что это сумасбродство невежественной юности. Я знаю, что поступил правильно, говорило его лицо, и мне все равно, если кто-то станет говорить иначе.

Из статьи мы узнали, что отправиться в Чатокуа его “вдохновил” пост в Твиттере, который он прочел “когда-то зимой”, где говорилось, что я собираюсь принять участие в запланированном там мероприятии. *Благодарю*, подумал я, *это указывает на умысел.* “Узнав, что он выжил, я, пожалуй, удивился”, — признался он еще. *И снова благодарю*, подумал я, *это указывает на цель*. Помимо этих признаний, в его словах не было ничего интересного. Он “обожал” аятоллу Хомейни, а обо мне сказал: “Мне не нравится этот человек. Я не считаю, что это очень хороший человек. Он мне не нравится. Он мне очень сильно не нравится”. Он прочел не больше, чем “пару страниц” моих книг, но он смотрел мои лекции на *YouTube* и пришел к выводу, что я “неискренний”. “Мне не нравятся люди, которые так неискренны”, — безапелляционно заявил он. Как именно неискренны? Этого он не разъяснил.

“Я хотел убить его, потому что он неискренний” — это не будет убедительным мотивом, если использовать его в детективной литературе, так

что, ознакомившись с его замечаниями, я пришел к убеждению, что его решение убить меня не было ничем мотивировано. Опиши я героя, чьим мотивом для совершения хладнокровного убийства — не *crime passionnel*, преступления страсти, а убийства, заранее, загодя, спланированного и проработанного в деталях, — стали бы несколько просмотренных видеороликов, подозреваю, мои издатели сочли бы такой персонаж неубедительным. Может показаться довольно оригинальным, когда тот, кого чуть не убили, с упреком обращается к тому, кто его чуть не убил: “Тебе следовало подыскать более серьезную причину, чем эта”; в конце концов, он *пытался* меня убить, так что, очевидно, сам считал свои резоны вполне достаточными; но все же именно это мне и хотелось сделать.

Я хотел встретиться с ним. Я хотел сесть вместе с ним в камере и попросить: “Расскажи мне все”. Я хотел, чтобы он взглянул мне в мой (единственный оставшийся) глаз и сказал правду.

Элиза была категорически против этого плана.

— Этого не будет, — сказала она мне.

Было непонятно, будет ли это возможно когда-нибудь позже, как минимум учитывая состояние моего здоровья; да и сам А. мог отказаться.

Его адвокаты, возможно, не рекомендовали бы ему так делать. Однако вначале я был полон решимости попытаться. Но затем подумал, что умственные способности этого молодого человека едва ли высоки — “не семи пядей во лбу”, кажется, так я сказал Элизе, или, по меньшей мере, его способности выражать свои мысли не хватает изощренности. Я не без издевки предположил, что этот человек вряд ли проживает осмысленную жизнь. И если бы я процитировал ему знаменитое изречение Сократа “Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой”, сомневаюсь, что смог бы услышать интересный ответ. Я решил, что мне нет нужды выслушивать его клише. Будет лучше самому выдумать его.

В тот момент я еще не решил, что буду писать эту книгу. Мы снимали наши видео, записывали аудио, фотографировали все, что со мной происходило — что происходило *с нами,* — но даже не задумывались о том, должно ли это остаться личным, чем-то вроде дневника, который мы ведем для себя и, возможно, семьи, или у этих материалов может быть более публичная жизнь. Наше общее решение снять документальный фильм и мое личное — написать эту книгу — возникли почти одновременно, и вот тогда я подумал: “В

этой истории три главных героя — Элиза, я и *он*". И решил, что воображать его, пробираться в его голову и описывать то, что я найду там, будет для меня интереснее, чем сидеть напротив него в его черно-белой тюрьме и выслушивать его черно-белую идеологическую муть о целях и средствах. Так что у него еще будет своя глава. Дойдет очередь и до него.

Мне было совсем плохо. Я был сломлен. Но я исцелялся.

Печень — удивительный орган. Она регенерирует. Моя печень восстановилась и начала работать, как нужно. Мне удалось избежать перспективы стать желтым.

Мой тонкий кишечник тоже, похоже, работал, так что хирурги справились со своей работой отлично. Больше всего медработники радуются, когда пациент говорит им, что у него появилась кишечная перистальтика. Медработникам искренне не нравится, когда твой кишечник остается без движения и они дают тебе лекарства, вызывающие диарею, и ты просишь прекратить их делать это и заискивающим тоном обещаешь, что скоро твои кишки зашевелятся, и вот наконец-то они начинают шевелиться, и все вокруг радуются.

По неизвестной причине под моим правым легким накапливалась жидкость. Нужно было дренировать ее. Меня перевезли из палаты в операционный блок этажом ниже. Мне пришлось лечь на бок, применили местную анестезию, а затем появилась игла и дренирование началось.

— Не переживайте, я чемпион по дренированию жидкостей, — сообщил мне врач.

Ох, подумал я (но не сказал вслух), а я и не знал, что это за чемпионат такой? Чемпионат мира по дренированию жидкости? Суперкубок по дренажу? А кто выступает между таймами? Группа “Мутные воды”? “Аква”? Заткнись, Салман. Это скоро закончится. Это продлилось дольше, чем я ожидал, и жидкости было много. Больше девяти тысяч миллилитров! Чемпион держал свой трофей, пластиковую емкость, наполненную яркой красно-розовой субстанцией.

— Я не ожидал, что она будет такой красочной, — сказал я.

Это потому, что я не ожидал, что эта жидкость, чем бы она ни была, окажется смешана с кровью. Однако кровь, естественно, там была.

Пока меня не было в палате, Элиза развернула камеру на себя и дала волю чувствам — тем, которые она не показывала при мне: горю, страху,

растерянности, ощущению, что то, что она считала своей жизнью, теперь навсегда уходит, и, более всего, своей ярости в отношении человека, который “приехал в Чатокуа и выбрал насилие. Он выбрал насилие”. Но сказала она: “Я в порядке. Со мной все будет хорошо, потому что он не умер. Мой муж жив”.

Она долго не разрешала мне посмотреть запись своего исполненного горечи монолога. Когда я закончил смотреть его, я был совершенно потрясен тем, как сильно она страдала, еще глубже осознал, какие титанические усилия ей приходилось совершать, чтобы скрывать это, улыбаться и любовно заботиться обо мне. Ей нужно исцелиться от этого. Ее раны — почти так же тяжелы, как мои.

У меня был глубокий порез на языке слева. Падая в амфитеатре, я, видимо, непроизвольно прокусил его. Требовалось наложить швы. Элиза рассказывала, что наблюдать за тем, как я держу рот открытым, пока врач иголкой с ниткой сшивает мой язык, было второй ужасной вещью, на которую ей пришлось смотреть. Нитки были саморассасывающимися, они должны были исчезнуть через пару недель, как мне сказали. А до этого времени мне предстояла жидкая диета

— супы, картофельное пюре, вот почти что и все. Я утешал себя мыслью, что хотя бы с зубами все было в порядке — они не вылетели, хотя я этого опасался после первого же удара.

Постепенно, в соответствии с намеченным графиком, мой язык исцелился, а швы зажили.

Самой страшной вещью, на которую Элизе пришлось смотреть, был мой глаз. Медсестра приходила каждый час смачивать его физраствором. Поскольку он так сильно вздулся и выкатился так далеко, что было невозможно закрыть веко, глаз не мог увлажняться естественно. Много что можно было оплакивать, однако слез не было.

Когда повязки сняли, мой глаз был похож на глаз монстра. Врачи пришли проверить его и понять, осталась ли у него способность хоть сколько-то видеть. Мне велели закрыть моей уцелевшей правой рукой левый глаз, а после начали светить в правый. В какой-то момент я с величайшим воодушевлением сообщил, что вижу свет на самой границе поля зрения правого глаза. Врачи воодушевились тоже, однако эта надежда оказалась ложной. Я просто закрыл левый глаз недостаточно хорошо, и видел им свет вокруг очертаний руки.

Глаз я потерял. Я пытался как-то принять это.

Зрительный нерв был поврежден, и этого не изменишь. Он, А., не забрал меня, но ему удалось забрать мой глаз. Даже сейчас, когда я пишу это, я все еще не смирился с этой потерей. Это сложно физически — быть не в состоянии видеть все поле зрения, с этим трудно справляться, так же сложно утратить перспективу, открывавшуюся двум глазам; когда я пытаюсь налить в стакан воду, часто промахиваюсь — но все же еще сложнее принять это эмоционально. Смириться с тем, что так и будет до конца моей жизни… это очень удручает. Однако, как часто в детстве повторяли Салему Синаю его родители в “Детях полуночи” (то же самое говорили мои родители мне): “То, что нельзя вылечить, нужно вытерпеть”.

Настал день, когда врачи сообщили мне свой краткосрочный план в отношении моего глаза. Невозможно принять никакого окончательного решения, нельзя ничего сказать о долгосрочной перспективе, о том, что ждет мой глаз в будущем, пока отек полностью не спадет, заявили они. Отек постепенно спадает, но это продлится еще долго. Однако уже через несколько дней будет можно натянуть веко вниз, на глаз, благодаря чему получится лучше его защитить. Они предлагали закрыть веко, а потом зашить его наглухо.

После этого слезные каналы вновь заработают, и глаз не нужно будет каждый час смачивать физраствором. Кроме того, глаз будет обезопасен от дальнейших повреждений. (Какие еще дальнейшие повреждения возможны, удивился я, но — в очередной раз — постеснялся об этом спросить.)

— Звучит по-настоящему больно, — признался я.

— Мы используем сильную местную анестезию, — заверили меня.

— Ладно, — согласился я, — потому что я на самом деле не очень хорошо переношу боль.

Процедура последовала через пару дней. Я видел, как приближается игла и испуганно спросил:

— А что насчет анестезии?

Мне сказали, что обезболивающее находится внутри иглы. Все, что я могу сказать о том, что было после — если оно правда там было, то я просто не могу себе представить, насколько болезненной была бы эта процедура, если бы его не было. Элиза присутствовала в комнате, так что она слышала, как я стонал от боли, и видела мое извивающееся тело. Позволь мне, любезный читатель, дать тебе маленький совет: если ты можешь избежать, чтобы тебе зашивали закрытый

глаз, избеги этого. Это по-настоящему больно.

Все прошло “успешно”, если выражаться языком медиков. Сам бы я не выбрал этого слова. Ощущения были близки к невыносимой боли больше, чем когда-либо в моей жизни — да, включая ножевые удары; во время нападения я находился в таком глубоком шоке, что не испытывал боль как боль, хотя очевидцы, которых я упоминал, говорили, что я “выл”. После этой “успешной” процедуры я вспомнил строчки из песни Боба Дилана “*Love Minus Zero/No Limit*”, которую мой друг Стив пел мне в ночь моего рождения на Сардинии в июне: “*нет большего успеха, чем неудача / и неудача это вовсе не успех*”.

Пройдет еще семь недель, и только тогда швы можно будет снять.

В День Седьмой в 11 утра передо мной установили ноутбук Элизы, и я мог видеть, как мои друзья и незнакомые люди собираются на ступеньках перед Публичной библиотекой Нью-Йорка, чтобы выразить солидарность со мной. Ровно неделю назад я валялся на полу в амфитеатре в Чатокуа, думал о смерти и старался не умереть. А теперь сотни людей собрались на Пятой авеню, чтобы “быть с Салманом”. Там был мой друг и блестящий прозаик Колум Маккэнн, он

сказал обо мне: “*Je suis Salman*”, “Я — Салман”, как прежде я и множество других людей говорили после случившегося 7 января 2015 года убийства карикатуриста из “Шарли Эбдо”: “*Je suis Charlie*”, “Я — Шарли”. Как это было трогательно, но в то же время и странно, сделаться слоганом.

Сьюзан Носсель, генеральный директор американского ПЕН-клуба, организации, в которой я в прошлом занимал пост президента, начала с эмоциональных фраз: “Когда потенциальный убийца вонзил нож в шею Салмана Рушди, он рассек им больше, нежели плоть прославленного писателя. Он насквозь рассек время, заставив всех нас внезапно осознать, что ужасы из прошлого неизбывно находятся рядом с нами. Он просочился сквозь границы и позволил карающей руке мстительного режима дотянуться до мирных небес. Он разрушил наше спокойствие, сделал так, что ночами мы лежим без сна, осмысляя безграничный ужас тех минут на сцене в Чатокуа. Он отнял у нас привычную жизнь, заставив размышлять, насколько хрупкой оказывается наша собственная свобода”. Эта речь, а также все, произнесенные вслед за ней, почти заставили меня заплакать, однако я подумал: *Не приписывай ему так много власти, Сьюзан. У нас не так-то*

просто отнять что-то. Не говори о нем так, словно он ангел смерти. Он просто придурочный клоун, которому повезло.

Прозвучало более дюжины выступлений, среди говоривших были дорогие для меня друзья — Киран Десаи, Поль Остер, А. М. Хоумс, Франческо Клементе. Меня переполняли эмоции. Было трудно говорить. Однако, когда все закончилось, Элиза включила камеру и стала спрашивать меня об увиденном.

> Что ты чувствовал, дорогой, когда увидел, что все они собрались там для тебя в прекрасный солнечный день в Нью-Йорке?

Мой голос дрожал, а дыхание срывалось. Я говорил обрывочными фразами.

> Я почувствовал… благодарность… Я был тронут… когда узнал… что моя жизнь… значит… так много значит… для людей. И я был… счастлив… услышать, как читают… то, что я написал.

После мероприятия в библиотеке собрания в мою поддержку стали проходить повсюду — или

так казалось, — в Англии, в Канаде, по всей Европе. Я вновь подумал, что любовь — это реальная сила, сила, способная исцелять. У меня нет ни малейших сомнений в том, что та любовь, которую я получал — любовь незнакомых людей и любовь друзей и близких, — сыграла огромную роль в том, чтобы я смог справиться со всем.

> Сначала… еще тогда… после фетвы… было довольно много враждебности, даже внутри литературного мира… у меня такое чувство… что может быть теперь… я нравлюсь людям… хотя бы немножко.
>
> Все, что я когда-либо пытался делать… это хорошо делать свою работу… и делать правильные вещи. Вот и все, что я когда-либо…

Через некоторое время в тот же день мне нужно было сказать Элизе и о том, как сильно я благодарен ей:

— Ты, черт возьми, делаешь все возможное и невозможное.

Она ответила, что я не должен ее благодарить.

— Но я испытываю глубочайшую благодарность… Я хочу, чтобы ты знала… что я ее чувствую.

Она сменила тему разговора и спросила меня об альбоме “Калипсо” Белафонте, она слышала, как я напеваю мелодии из него.

— “Песня придурка”, — ответил я. — “Сейчас говорю тебе по-доброму, не привязывай меня к ослу”.

Она попросила меня напеть ее. Я не умел петь даже в лучшие времена, но я спел для нее своим дрожащим прерывающимся голосом: “*Они говорят, что я, осел, сошел с ума / Не привязывай меня к ослу / Потому что он высоко на тюке сена / не привязывай меня к ослу*”.

Я испытываю радость, признался я, когда говорю с тобой про всякие глупости.

Мероприятие на ступеньках библиотеки дало мне большой энергетический заряд, подействовало сильнее, чем любое лекарство. Я заговорил с Элизой о том, как мы будем возвращать себе свою прежнюю жизнь.

Человек должен отыскать свою жизнь, сказал я. *Человек не может просто сидеть и отходить от почти что смерти. Он должен найти жизнь.*

Я пытаюсь вспомнить, чувствовал ли я злобу в те первые дни. Я провел в отделении сложной травмы больницы Хэмот восемнадцать дней

— восемнадцать самых долгих дней своей жизни, — и когда я пытаюсь мысленно вернуться в свою палату, то могу вспомнить, что был без сил, был исполнен решимости, был опустошен, испытывал депрессию, был ошеломлен, болен, не осознавал происходящее, а еще, в компании Элизы, Зафара и Самин, чувствовал, что люблю и любим. Но я не помню злобы. Я думаю, злоба представлялась мне непозволительной роскошью. От нее не было пользы, а у меня было много других, более важных дел. Я особо не думал о человеке, из-за чьих действий я оказался в этом месте, и о тех людях, чья смертоносная идеология вдохновила его сделать то, что он сделал. Я думал только о том, чтобы выжить, то есть не только остаться в живых, но и вернуть себе свою привычную, свободную жизнь, которую я так тщательно выстраивал последние двадцать лет.

Мое тело, в которое словно вставили батарейку, справлялось довольно неплохо, даже с учетом всех составляющих. В те дни я многое узнал про потрясающую способность человеческого тела к самовосстановлению. Человек — животное, способное совершать разрушительные (а также изредка благородные) действия, но, когда его существование оказывается под угрозой, вклю-

чается и начинает править инстинкт. Это был мой инстинкт самосохранения, это он шептал мне в ухо, когда я истекал кровью, лежа на полу в Чатокуа: *Живи. Живи*. И он продолжал шептать мне, когда я находился на больничной койке.

Что касается прочего — возвращения своей прежней жизни, — я знал, что с этим придется повременить. Впереди меня ждет длинная дорога, и до того, как ступить на нее, мне предстоит выучиться ходить.

Возле моей кровати стояло кресло. Первым шагом было почувствовать, что я сумею сесть в это кресло. Я обнаружил, что поначалу мне требовалась помощь, чтобы менять положение ног, помощь, чтобы присесть, и помощь, чтобы прилечь обратно. Но находиться в более вертикальном положении было приятно, и с каждым днем становилось немножечко проще продвигаться в сторону кресла. С каждым днем я мог делать самостоятельно немножечко больше. День, когда я сумел добраться до туалета, осуществить задачу хорошего пациента по опорожнению кишечника, а затем подтереть себя без помощи медсестры — что ж, тот день стал для меня днем освобождения. Меня охватывал ужас при мысли, что я могу остаться инвалидом, кото-

рого кто-то должен подтирать, мыть, с которым нужно обращаться, как с младенцем. Я начал, очень осторожно, думать о том, что скоро снова сумею стать взрослым.

В ванной комнате не было зеркала. Я все еще не видел своего лица.

Прошло дней десять, и я смог выйти за пределы палаты! Рядом со мной была медсестра, и в тот первый раз я использовал ходунки — те, что британцы называют ходильной рамой Зиммера, — но сумел пройти до середины общего коридора и вернуться обратно. Охранники и сотрудники больницы подбадривали меня, показывая большие пальцы. А потом я с каждым днем мог ходить чуть-чуть лучше.

То, что я смог самостоятельно осуществлять некоторые ежедневные мелочи, очень меня приободрило. Я был вынужден учиться, как держать зубную щетку и выдавливать на нее пасту, пользуясь только одной рукой. Однако оставались доставлявшие неприятности медицинские вопросы. К разным частям моего тела были прикреплены маленькие мешочки для сбора сочащихся из меня жидкостей. Один из порезов на лице повредил канал, по которому в рот поступает слюна, и слюни стекали у меня

со щеки. Решить эту проблему пришел молодой доктор. Он засунул в мое лицо полоску впитывающего материала, после чего стал посещать меня дважды в день, чтобы сильно сдавливать рану и выдавливать небольшой кусочек пропитавшейся слюной полоски. Постепенно подтекание прекратилось. Эта процедура причиняла максимальный дискомфорт, и я начал называть этого врача доктор Боль. Однако она сработала, и к моменту, когда я покидал Хэмот, слюна больше не капала с моего лица.

Моя левая рука оставалась зафиксированной в лангете. Было слишком рано начинать какую-либо физиотерапию, прежде должны были восстановиться сухожилия. Вкупе с моим ослепшим правым глазом эта искалеченная рука была самым неопровержимым свидетельством моей новой реальности. Многие пытались меня разубедить, утверждая: “По крайней мере вы праворукий”, но эта радостная мысль на самом деле не делала мою жизнь лучше. Главной поддержкой для меня было то, что рядом Элиза, Зафар и Самин.

Когда случилась фетва, Зафару было девять лет, и ему пришлось вырасти с тем, что над головой его отца постоянно висит угроза. Сразу после, как

только стало казаться, что все налаживается, его мать, Кларисса, умерла от особо агрессивного рецидива рака груди, случившегося спустя пять лет ремиссии. Ему было девятнадцать. Он прошел через все эти испытания в столь юном возрасте с достоинством и самообладанием, и просто ужасно, думал я, что через два с лишним десятка лет его прошлое вернулось к нему и перенесло из Лондона в это далекое место, где, борясь за свою жизнь, лежал его отец. Совершенно точно я не был единственным, чьи дни изуродовала угроза террористической атаки. Он тоже был жертвой.

Мы с Самин были самыми верными товарищами с того самого дня, когда она появилась на свет в Бомбее через один год и две недели после меня. В детстве у меня никого не было ближе нее. Она дралась с людьми, если считала, что они говорят обо мне плохо, я же выручал ее из неприятностей с родителями. Однажды — наверное, нам было восемь и девять лет — раздался звонок в дверь. За ней стоял чей-то разгневанный родитель и орал на моего отца:

— Ваша дочь только что избила моего сына!

Мой отец рассмеялся:

— Шшш, — ответил он, — не сообщайте об этом так громко.

Мы оставались близкими людьми всю жизнь. И вот теперь случилось это. Я повторял ей снова и снова, как сильно я люблю ее и как для меня важно — как сильно мне это помогает, — что она приехала. Спустя несколько дней она сказала:

— Странно. Еще никогда ты не был со мной таким милым.

Нашей обычной манерой общения были подколы и шуточки, мы подтрунивали друг над другом, поскольку знали, что нашей любви сантименты ни к чему. И вот я сделался слезливым и сентиментальным. Она, естественно, растерялась: это шло полностью вразрез с моим характером.

— Я всегда был с тобою милым, — возразил я.

— Нет, не был, — с радостью отреагировала она, — не настолько.

До того как Самин приехала в Хэмот, Элиза показывала ей через свой айфон, как я шевелю пальцами, чтобы убедить Самин, что мой мозг функционирует. Приехав, она начала делать для меня то, что мы с ней оба делали в юности для нашей мамы, когда она, усталая, ложилась днем в постель — она разминала мне ноги (и массировала эти красноречивые пальцы), чтобы успокоить меня.

– *Дабао*, — говорил я ей на урду, повторяя

команду, которую прежде давала нам мама, — дави.

На неделю наша с ней близость длиною в жизнь подарила мне если не радость, то воспоминание о радости. А потом был День Восьмой, она вернулась в Лондон; ей было трудно уезжать, и она злилась на себя, что не забронировала обратный билет на более позднюю дату. Был День Девятый, и Зафар тоже улетел домой. После этого остались только Элиза и я, и еще девять дней, которые предстояло прожить.

Когда Милан узнал о том, что со мной произошло, его единственным желанием было как можно скорее оказаться у моей постели. Однако у него на пути лежал Атлантический океан, и в свои двадцать пять лет он очень боялся летать. Вот уже шесть лет он не мог себя заставить подняться на борт самолета. Весь тот день, 12 августа, он мучался из-за вставшей перед ним дилеммы. Должен признать, что не вполне понимаю, откуда у него взялся этот страх, ведь большую часть юности он летал повсюду — и ко мне в Нью-Йорк, и со мной, скажем, в Индию, на Кипр и в Рим. Проводить время вместе с ним всегда было для меня очень важно, и пока у него не появился этот страх, мы чередовали мои визиты в Лондон и его

поездки в Америку. Но когда, словно из ниоткуда, появился страх, в течение долгого времени я оставался единственным, кто летал в обе стороны. И вот теперь нападение поставило перед ним вопрос, на который он не мог ответить. Да, он полетит немедленно! — Нет, он не сможет этого сделать. — Да, он заставит себя. — Нет, он приедет в аэропорт, но зайти в самолет так и не сможет.

Его мать Элизабет — Элизабет Уэст, леди Беркли, она ныне состоит в счастливом браке с композитором Майклом Беркли и остается моим хорошим другом — пришла ему на помощь. Она купила ему трансатлантический круиз на лайнере "Куин Мэри 2", единственном оставшемся пассажирском лайнере, пересекающим океан. Он отчалит из Саутгемптона и через семь дней, в конце августа, прибудет в Нью-Йорк. Большая удача, что она среагировала так быстро и проявила такую щедрость, понимая (то же, что понимала Элиза, когда оплачивала частный перелет к озеру Эри), что в жизни бывают моменты, когда не следует заниматься подсчетами, а надо просто брать и делать. Через двадцать четыре часа после того, как она выкупила место для Милана, билеты на круиз были полностью распроданы.

Когда в больничной постели, едва способный

двигаться, я узнал о морском путешествии Милана, моей первой реакцией было чувство зависти. Еще задолго до нападения я посмотрел фильм “Пусть говорят” с Мерил Стрип, большая часть действия которого происходит как раз на этом корабле. Я помню, как подумал, что сам фильм ничего особенного из себя не представляет, а вот судно выглядит потрясающим.

Я говорил с Миланом до отплытия.

— Я тоже хочу поплавать на этом корабле, — сказал я. — Когда мне станет лучше, возможно, мы сможем поплыть вместе.

— Да, папа, — ответил он, — тебе станет лучше, и мы поплывем.

Было приятно грезить о лучшем будущем.

Достигнув отметки “День Пятнадцатый” я разгуливал туда-сюда по больничным коридорам без посторонней помощи. У меня заметно меньше дрожал голос и тряслось тело. Армия докторов, ежедневно осматривавшая различные части моего тела, выражала удовлетворение, даже изумление. Самый главный, хирург с гастрономическим именем Джеймс Бирд, как у знаменитого шеф-повара, заявил, что, похоже, скоро наступит момент, когда будет пора переводить меня в реабилитационный центр. Хорошие

люди из больницы Раск на Манхэттене сказали, что готовы меня принять. Карета скорой помощи была готова.

— Осталась всего пара дней, — сказали мне.

С моим зашитым глазом все шло хорошо. Моя левая рука все еще была зафиксирована в лангете, но мне сказали, что в больнице Раск лангету снимут и начнут физиотерапию. Маленькие мешочки, прикрепленные к моему телу, убрали, поскольку больше в них ничего не сочилось. Была надежда, что жидкость у меня под легким тоже больше не будет скапливаться. Все глубокие раны и порезы, похоже, затянулись. Даже доктору Боль было больше не нужно выдавливать из моего лица слюну. Доктор Глаз, доктор Рука, доктор Скобы, доктор Надрез, доктор Печень, доктор Язык — все они постепенно начали исчезать.

— Думаю, что мы можем снять скобы, — сказал мне доктор Скобы, когда был День Семнадцатый, — похоже, все довольно неплохо зажило.

— Когда их вынут, — уточнил я, — я смогу побриться?

Вокруг ран на шее и лице у меня выросла семнадцатидневная борода. Она кололась и доставляла неудобства.

— Не сразу, — ответил доктор Скобы, — подо-

ждите пару недель.

Вжик-вжик кусачками, и металлические скобы отпали. Некоторые срезали безболезненно, другие причиняли боль, но в целом я чувствовал себя вполне хорошо. По крайней мере, я больше не был искусственным образом собран из кусков.

Один из врачей принес мне в подарок шоколад от “лучшего крафтового шоколатье в округе Эри”. Другой принес нам с Элизой хот-доги, тоже лучшие в городе. Медсестры разыскали где-то повязки на глаза, чтобы я мог их примерить. Это оказалось неудобно, но они действовали из добрых побуждений. Одна из медсестер сказала Элизе: “Мало кто выходит отсюда”, имея в виду, что большинство делает это в мешках для трупов.

День Восемнадцатый. Я был одет в нормальную одежду, а не в больничную пижаму, в первый раз с тех пор, как оказался здесь, — футболка, спортивный костюм, кеды. Меня должны провезти на кресле через всю больницу до укромного места посадки, где, как мы надеялись, не будет прессы. Мы не хотели, чтобы стало известно о нашем переезде в Нью-Йорк. Мы хотели полной изоляции от прессы, это поможет мне спокойно выздороветь вдали от любопытных глаз и ушей.

Время двигаться в путь.

4. Реабилитационный центр

Нью-Йорк на излете дня, сияющий от солнца. Я был всем сердцем рад снова видеть его, видеть его весьма уродливые улицы, исполненные благородства и неприглядные, столько разлитого в воздухе таланта, столько снующих под ногами крыс, его жителей, чешащих вперед в летних шортах, его парки, украшенные девицами в цвету, его ржавые железные мосты, его башни, его ужасные дороги, его одновременность всего, его безграничное изобилие, избыточность его толп; город, где повсюду идет стройка и звучит музыка. Дом. Когда карета скорой помощи ехала по Манхэттену, я почувствовал, что вновь нахожусь в правильном месте. Я уехал из этого бурлящего жизнью святилища девятнадцать дней назад и теперь оказался в ловушке парадокса: почти убитый в обманчиво мирном и кротком месте вдалеке отсюда, я был спасен в другом далеком местечке, на улицах которого небезопасно. Каждую минуту, проведенную в больнице Хэмот, я при всем мастерстве хирургов и доброте медсестер чувствовал себя как рыба, выброшенная на берег. Я всегда был парнем из больших городов

— Бомбей, Лондон, Нью-Йорк. Городские истории были и моими историями тоже, и вот опять я оказался в своем самом любимом океане, в море историй из бетона и стали, где я всегда предпочитал плавать.

Прибытие в Раск обернулось настоящим ужасом, поскольку все переживали, как бы меня не увидели, и сочли, что лучше будет, если я прибуду анонимно, чтобы СМИ не знали, что я в городе, по причинам безопасности. Так что Элиза закрыла мне лицо шарфом, носилки со мной выкатили из кареты скорой помощи и поместили на каталку, на которой меня провезли по незнакомой территории. Выглядело это так, словно я на самом деле умер. Я старался гнать эту мысль подальше от себя все время, пока меня, с закрытым шарфом лицом, поднимали на лифте и везли до палаты, где шарф сняли. В той первой палате не было спального места для Элизы, хотя у нас была договоренность с Раском, что это будет предусмотрено, так что нам пришлось подождать и переехать в другую палату.

Я вернулся в город, находился на перекрестке Семнадцатой улицы и Второй авеню, и все же это не было настоящим возвращением, ведь я не мог никому сообщить, что я здесь. Мой душевный

подъем испарился. Я снова чувствовал, что меня заставили вернуться в ужасное прошлое, в те дни, когда я “находился под охраной” в Британии и жил “на конспиративных квартирах” вместе с вооруженными полицейскими вдали от всех, кого я люблю. Вооруженные полицейские и теперь стояли за дверью моей палаты. Но со мной хотя бы была Элиза, и ко мне ехал Милан. Лайнер “Куин Мэри 2” прибыл в Нью-Йорк днем раньше. Сестра Элизы Мелисса встретила Милана на суше. Мы сняли для него через *Airbnb* жилье в Верхнем Ист-Сайде. Можно ли жить в нашем доме, пока было непонятно. Элиза пригласила специалистов из охранной компании ADT, чтобы они серьезно доработали охранную систему нашего дома — камеры, тревожные кнопки и прочее. Я подумал, что будет лучше, если Милан не будет там жить. Единственная причина — квартал кишел папарацци. Мелисса отвезла его в снятую для него квартиру, он заселился, а на следующий день прибыл я, и он пришел меня проведать. Перед тем как он зашел ко мне в палату, Элиза усадила его в небольшой комнатке для посетителей и рассказала, чего ожидать — о моих травмах, о том, как я слаб и прочее.

Это была очень прочувствованная встреча. У

меня было мало сил, но меня переполняла радость от того, что я его вижу. Через какое-то время он признался, что пережил горе и страх из-за того, что со мной случилось, во время своего долгого путешествия через океан в одиночестве, так что, когда он зашел ко мне в палату в больнице Раск, он мог уже просто радоваться тому, что видит меня, и тому, что я балагурю, шучу и остаюсь "прежним папой". Я рад, что он не видел самого страшного, но ему было тяжело смотреть на мой забинтованный глаз, руку в лангете и изрезанную грудь, на которую он решил взглянуть даже после того (или из-за того), как я сказал, что из-за порезов мой торс стал похож на карту метро. Его приезд очень меня воодушевил, а он радовался, что я могу вставать и ходить.

Меня переполнял оптимизм — оптимизм, моя самая большая слабость или моя самая сильная сторона (в зависимости от того, кого об этом спрашивать, и от того, в каком настроении нахожусь я сам). В вольтеровском "Кандиде" (полное название которого звучит как "Кандид, или Оптимизм") позитивный настрой героя перед лицом мирских ужасов почти идиотичен. (Если наш мир — самый лучший из всех возможных миров, то все эти параллельные реальности

должны быть сущим адом.) В романе “Кишот” я отразил свою собственную натуру, сделав заглавного героя оптимистом кандидова толка. И вот сейчас, прикованный к постели и страшно искалеченный, я начал верить, что самое плохое осталось позади, что приезд Милана — это знак, что рубикон перейден и что скоро меня снова ждут счастливые дни.

Прозвенел звонок, извещавший, что часы посещения кончились, и Милан уехал на ночь к себе. Вскоре после этого мочевой пузырь сообщил мне, что мой недавний оптимизм преждевременен.

Это нельзя выразить как-то элегантно. Я испытывал трудности с мочеиспусканием. Я чувствовал позывы, хотел воспользоваться стоящей у кровати уткой, но что-то мешало. Я ощущал дискомфорт, не более. Медики принесли прибор, позволяющий определить, насколько полон был мой мочевой пузырь. Он опасно переполнен, сообщили медики. То, что за этим последовало, мне страшно даже описывать.

Мой первый катетер.

Дорогой читатель, если тебе никогда не вставляли катетер в твой детородный орган, сделай все, чтобы так оно и было. Я пережил свой семьдесят пятый день рождения, не испытав этого

ужасного позора, и вот пожалуйста. Скажу только, что таких звуков, как вырывались из моего рта во время этой процедуры, я никогда прежде не слышал. Это мой пенис молил о милости.

Не будем слишком задерживаться на этом моменте: проблемы с мочеиспусканием продолжались. Позывы помочиться, практически полная невозможность осуществить это, неловкие попытки и неудачи, разрывающийся мочевой пузырь. Я стал бояться периодических визитов Медсестры Мочевой пузырь с ее Мочеизмерителем. И у меня были все основания бояться их.

Случился и второй эпизод постановки катетера, пока я был в Раске.

И третий.

И только после этого один из врачей, Доктор Гений, решил задуматься, не является ли корнем моей проблемы что-то в составе того коктейля из таблеток и инъекций, что я ежедневно получаю через равные промежутки времени. Он даже определил, какой препарат — я называл его Зломецином — может быть потенциальным виновником. Мне перестали его давать, и в течение нескольких часов все изменилось. У меня было такое чувство, что внутри распахнулись ворота плотинного шлюза. И то, что казалось

почти невозможным, вновь стало осуществляться легко.

Когда пациент понимает, что причиной его болезни было лекарство, ощущение безысходности его просто переполняет. Я старался держать свои эмоции под контролем, но, возможно, мне удалось это лишь отчасти. Медсестра Мочевой пузырь продолжала посещать меня, однако Мочеизмеритель сообщал лишь хорошие новости. Все испытали облегчение. И никто не извинился за то, что мне назначили Зломецин.

(В медицине состояние, вызванное приемом лекарственных препаратов, называется *ятрогенным заболеванием*. Отличное название для далеко не отличного явления. Я узнал его от супруги Мартина Эмиса, Изабель Фонсеки. Конечно же, это выяснил Мартин.)

И все же я не избавился от него полностью. Проблема, вызванная лекарством, повлекла за собой другую — острую инфекцию мочевыводящих путей. Понадобится еще не менее двух недель на антибиотиках, чтобы это вылечить.

Милан изучал нападения с ножом.

— Пап, — заявил он, сидя на моей кровати, — есть очень много случаев, когда человек получает всего один удар ножом и умирает. А тебя ударили

раз пятнадцать, и ты все равно жив.

Я кивнул.

— Знаешь, — сказал я в ответ, — какого выдуманного персонажа я сейчас больше всего напоминаю? Росомаху.

Одного из Людей X с супергеройским “фактором восстановления здоровья”.

Он рассмеялся:

— Да, пап, только без когтей.

Теперь, когда с нами был Милан, Элиза могла на некоторое время уходить. Она почти не отходила от меня с тех пор, как приехала в округ Эри, а теперь имела возможность немного передохнуть — они с Миланом дежурили у моей постели по очереди. Дневные часы в Раске были полностью расписаны, физиотерапия чередовалась с эрготерапией, а между ними — осмотры врачей и медсестер. Около четырех часов пополудни все дневные задачи оказывались наконец выполнены. Милан проводил со мной дневную смену, а Элиза приезжала позже.

Еще мы решили, что “кровать”, которую предоставили Элизе, слишком мала и слишком неудобна.

— Тебе глупо даже пробовать спать на ней, — сказал я, — когда твоя собственная домашняя

кровать находится на расстоянии одной поездки на такси.

Она переживала из-за поездки домой.

— А как же папарацци? — спросила она.

— Черт с ними, с папарацци, — ответил я. — Просто выспись как следует.

С тех пор я оставался на ночь один. Я оказался заложником кровати с подключенной системой оповещения, которая начнет вопить, если я попытаюсь выбраться из кровати без посторонней помощи. Никакой свободы. Весь мой мир сжался до размеров этой вопящей кровати, а больничные кровати, на самом деле, предназначаются не для сна. Они нужны, чтобы ты оставался на своем месте, пока другие люди в любое время заходят к тебе и уходят, чтобы проверить основные показатели состояния твоего организма, взять кровь, дать тебе лекарства и спросить, как ты себя чувствуешь. Почему полицейские, сидящие около палаты, считают, что три часа ночи — самое подходящее время, чтобы рассказывать друг другу сальные анекдоты и ржать хриплыми голосами, остается непонятным. Почему лучшим временем для забора крови оказывается четыре часа утра, мне не объяснили. Почему Медсестре Глаз было необходимо прийти и зажечь яркий

верхний свет, чтобы сменить мне повязку в пять утра, тоже осталось без объяснений. В половине шестого больница полностью просыпалась, начинался новый день, и я мог забыть про сон.

Как можно было заключить из предыдущего абзаца, я стал до сумасшествия чувствительным к шумам. Из окна я мог слышать звучавшую семью этажами ниже меня музыку города: “скорые”, пожарные машины, полицейские сирены, внедорожники с опущенными окнами, оглашающие небеса хип-хопом, пьяные гуляки, смеющиеся или рыдающие по дороге домой. Эти привычные звуки приносили мне радость, но при этом подчеркивали печальный факт: я был в своем городе, но не был, на данный момент, полноценной его частью. Нож отрезал меня от моего мира, жестоким ударом отправил назад и водрузил на эту вопящую кровать.

Во время этих бессонных ночей я много думал о Ноже как идее. Когда нож делает первый надрез на свадебном торте — это часть ритуала, призванного соединить двух людей воедино. Кухонный нож — важная составляющая для кулинарного творчества. Швейцарский армейский нож — помощник, способный выполнять множество маленьких, но важных задач, к примеру открыть

бутылку пива. Бритва Оккама — концептуальный нож, нож теории, который отсекает кучу всякого дерьма и напоминает нам, что следует предпочитать самое простое из всех имеющихся объяснений более сложным. Иными словами нож — это орудие, оно приобретает значение в зависимости от того, как мы его используем. Оно нейтрально с моральной точки зрения. Неправильное использование ножей — вот что противоречит морали.

Стоп, сказал я себе. Гнетущая пауза. Разве это не то же самое, что сказать: “Ружья не убивают людей, людей убивают люди”? Не угодил ли я в ту же ловушку?

Нет. Ведь пистолеты и ружья могут быть использованы только одним образом, у него одна цель. Нельзя резать торт “глоком”, или готовить при помощи AR-15, или открыть бутылку пива, воспользовавшись любимым пистолетом Джеймса Бонда “вальтер ППК”. Единственное, для чего они существуют, — насилие; их единственная цель — наносить увечья, даже забирать жизни у людей и животных. Нож — не то же самое, что ружье или пистолет.

Язык — тоже нож. Он может вспороть этот мир и показать, что он значит, каково его внутреннее

устройство, его секреты, правду о нем. Он может сделать разрез из одной реальности в другую. Может быть собачьей чушью, может раскрывать людям глаза, может творить прекрасное. Язык был моим ножом. Если бы мне внезапно пришлось участвовать в вынужденной драке на ножах, быть может, именно этот нож я стал бы использовать, чтобы отражать удары. Язык может стать орудием, которое я использую, чтобы перекроить свой мир и заявить на него свои права, чтобы починить рамку, поместить в нее свою картину мира и вновь повесить на стену, чтобы взять под свой контроль то, что со мною произошло, чтобы принять это, чтобы сделать это своим.

Или это всего лишь утешительная ложь, которую я говорю сам себе? Просто бессмысленная бравада? Да хотел ли я вообще бороться? Были моменты — такие моменты случались часто в этой депрессивной кровати, — когда мне казалось, что большую часть своей жизни я провел в борьбе и что Вселенная, возможно, говорит мне, что я не должен продолжать это, что нужно просто остановиться. Что я должен сдаться и признать свое поражение. Быть может, нож хотел сообщить мне это. “Город Победы” будет издан в феврале. Моя

двадцать первая книга — я гордился ею. Надеялся, что ее хорошо примут. Быть может, это самый подходящий момент для того, чтобы остановиться, лучшая финальная строка, написанная мною за всю жизнь. Быть может, настало время уйти из литературы путем Филипа Рота и приклеить к компьютеру стикер “Борьба окончена”. В этом самом лучшем из всех возможных миров *il faut cultiver notre jardin*. Надо возделывать свой сад. Не то чтобы я хоть как-то разбирался в земледелии либо хотел этому научиться.

Первым, кто навестил меня помимо родных, был мой агент и друг Эндрю Уайли. Эндрю казался сдержанным, но он эмоциональный человек, и когда мы обнялись, он почти заплакал. Эндрю преданный, сердечный, очень умный и очень веселый, он совсем не похож на “Шакала”, прозвище, которым его наградили в мире книготорговли. (Я думаю, что это прозвище ему нравится. Оно делает его опасным.) Он точно знал, что нужно делать.

— Не уверен, что снова смогу писать, — сказал я ему.

— Тебе еще год нужно думать только о том, — ответил он, — как поправиться.

— Отличный совет, — признал я.

— Но в конце концов ты непременно обо всем этом напишешь.

— Не знаю, — возразил я, — не уверен, что хочу этого.

— Ты напишешь об этом, — заключил он.

В Раске в ванной, примыкавшей к моей палате, было зеркало. В первый раз за несколько недель я мог взглянуть на свое лицо. Я сказал нянечке, проводившей меня до туалета, что отлично справлюсь сам, закрыл дверь и посмотрел в зеркало. Чуть раньше этим же утром Доктор Скобы — Доктор Скобы Нью-Йорк, доктор медицины, — пришедший на смену своей версии из округа Эри, сообщил мне, что у меня на шее еще осталось несколько скоб, которых было не видно из-за растущей бороды, и вытащил их. Так что лицо, которое я увидел в зеркале, было, по крайней мере, без кусков металла, скрепляющих его части. Все раны затянулись.

Человек смотрит на свое отражение и не понимает, узнает ли он себя. Кто ты, спрашивает он у фигуры в зеркале. Разве мы знакомы? Ты сможешь в какой-то момент снова превратиться в меня, или теперь я вынужден буду всегда мириться с этим заросшим волосами одноглазым полузнакомцем. “*Я не вижу тебя*, — пели

«Битлз», — *куда же ты ушла?*" Человек в туалете беседует с человеком в зеркале. Ты призрак моего будущего? Губы у его отражения не шевелятся. Ты кто-то, кого они прислали сюда вместо меня? — спрашивает туалетный человек у зеркального человека. Они считают, что выбрали меня на эту роль по ошибке, я прав? Они нашли кого-то другого, точно. Они вернули умершего к жизни и передали ему сцены, которые должен был играть я. Что будет со мной после того, как меня вышвырнут, и вместо меня будешь ты? Куда мне деваться? Что будет с моей сюжетной линией? Как все это будут решать?

Губы у человека в зеркале не шевелятся. Верхнюю часть его лба пересекает порез. У него рана в левом углу рта. Он страшно, безгранично небрит. Его правое веко наглухо зашито. Он успешно справляется с опорожнением кишечника. Успешно справляется с тем, чтобы помыться и подтереться. В его единственном глазе сквозит печаль. Он хорошо справляется со своей ролью.

Человек в туалете протягивает к поверхности зеркала руку, свою невредимую правую руку. Она оказывается мягкой, как тягучая жидкость. Его рука проходит сквозь зеркало, а потом и он весь проходит сквозь него. Теперь он — человек по ту

сторону зеркала, а непрозрачное темное зеркало оказывается у него за спиной. Он — тот чужак, который вынужден играть свою роль.

Из зазеркального мира тот другой, туалетный мир не виден. Прямоугольник зеркала чернеет, он похож на киноэкран до начала кинокартины. Потом начинается кино. Он в детской своего бомбейского дома, ему лет семь, он лежит на кровати и вслух читает книгу. Сестры внимают ему с восхищением. Его книга — “Питер Пэн”. Он узнает эту сцену. Это фотография, которую его отец сделал камерой “роллейфлекс”. И у него, и у Самин, у них обоих дома на стене висит такая фотография. Это иллюзия из детства, призванная скрыть правду.

Изображение меняется. Книга закрыта, поздний вечер. Они слушают ночные звуки своих родителей, приглушенные из-за закрытых дверей. Крики их отца. Слезы их матери.

Изображение снова меняется. Он уже не ребенок. Он подросток. День. Их отец оскорбляет их маму, и он делает то, на что, как он думал, никогда бы не смог решиться. Он подходит к отцу и наотмашь бьет его по лицу. И потом, тут же, думает: *Господи, теперь он ударит меня в ответ*. Его отец был невысокого роста, но был очень

силен. *Господи, он сломает мне челюсть*. Но отец уходит, не причинив ему вреда. Может ли быть, что ему стало стыдно?

Теперь ему тридцать четыре, и он автор имевшей успех книги, и его отец из-за этой книги угрожает разводом его матери. Представленный в книге портрет отца оскорбил его, поскольку у книжного отца имелись проблемы с выпивкой. *Это ты надоумила его*, обвиняет его отец его мать, *как бы иначе он посмел? Откуда он мог все это узнать?* Он хочет сказать отцу: *Дети умеют слышать сквозь закрытые двери*. Он хочет сказать отцу: *Если бы я на самом деле хотел разоблачить тебя, то описал бы и все остальное*.

Он уезжает из своего дома и никогда не возвращается туда до последней недели жизни отца. Зеркало снова черное.

Существует реабилитация тела, но существует также и реабилитация ума и духа. Когда я уехал из нашего дома в Лондон, я впервые прошел сквозь зеркало и заново нашел, переделал — реабилитировал — самого себя в иной реальности, начал исполнять в этом мире новую роль. После объявленной Хомейни фетвы мне пришлось сделать это снова. Когда я перебрался из Лондона в Нью-Йорк, это случилось в третий раз. Здесь и

сейчас, в Раске, был четвертый.

— Там у вас все в порядке? — решила поинтересоваться нянечка.

— Да. Мне просто нужно немного времени.

— Не спешите. Дерните за шнурок, когда закончите.

Та первая реабилитация.

Сметка, говорит нам Пёрсинг в романе “Дзен и искусство ухода за мотоциклом”, означает то, что нужно духу, чтобы попасть в хорошее место; дух приобретает сметку, соприкасаясь с Качеством:

> Мне нравится слово “сметка”, потому что… оно очень точно описывает, что происходит с теми, кто приобщается к Качеству. Они наполняются сметкой…
>
> Человек, наполненный сметкой, не просиживает штаны, рассусоливая про что ни попадя. Он бежит впереди поезда собственного осознания, смотрит, что возникает на рельсах, и готов к тому, что возникнет.[10]

Долгое время после того, как я уехал из роди-

---

[10] Примечания: 10
Перевод М. Немцова.

тельского дома, чтобы строить свою жизнь в Лондоне, я не бежал впереди поезда собственного осознания. У меня была работа, но она не была работой, которая мне нравилась. Я пытался писать, но не написал ничего, что было бы достойно быть прочитанным. Даже когда я опубликовал роман, многое в нем вскоре стало казаться мне фальшивым. Я не слышал себя за большинством его фраз и не знал, чем или кем может быть тот, кого я пытаюсь расслышать. В те дни я часто спрашивал у зеркала в своей ванной, кто я есть, и у зеркала не было ответа. И только потом, когда я нашел свой путь в книге, которая стала “Детьми полуночи” — книге, в которой я попытался вновь забрать не только Индию, но и себя самого, действие которой происходит в Бомбее, городе, построенном на земле, забранной у моря, — я “приобщился к Качеству”, а вслед за этим появилось и понимание себя, и бак со сметкой наполнился. Я не собирался ремонтировать никаких мотоциклов, но я узнал, что — посредством литературы — могу отремонтировать себя.

Вторая реабилитация.

После фетвы и последовавшего за ней десятилетия полуподпольной жизни под охраной полиции я был близок к тому, чтобы снова по-

терять себя, и на некоторое время почва ушла у меня из-под ног. Опасность была реальной, но повсеместная враждебность казалась даже хуже. Причина того, что волна добрых чувств, которая докатилась до меня после нападения с ножом, стала для меня не только успокоением, но и большим сюрпризом, состоит в том, что после фетвы я получал подобную поддержку, однако вместе с ней и убийственное количество жестокой критики. На Западе звучало множество голосов — они принадлежали далеко не только уже упомянутым Хью-Тревору Роперу, Ричарду Литтлджону, Джимми Картеру и Жермен Грир, — они говорили: *Он сам навлек это на себя, он втравил себя в неприятности “со своими”, а теперь мы должны доставать его оттуда. Он критиковал госпожу Тэтчер, а теперь ее правительство платит за то, чтобы спасать его шкуру, неужели кто-то пытается его убить на самом деле или он просто любит привлекать к себе внимание? И почему мы должны тратить столько денег на его охрану, если похоже, что с ним все в полном порядке? Он в любом случае нам не нравится, это не очень приятный человек.*

(Для информации: по моим сведениям, за годы, прошедшие после объявления фетвы, было

предпринято по меньшей мере шесть попыток покушения на мою жизнь, предотвращенных благодаря высокому уровню компетенций британских разведывательных служб.)

Еще более болезненным было неприятие со стороны тех, о ком я писал — как я думал, с любовью. Я мог понять нападки со стороны Ирана. Там был у власти жестокий режим, к которому я не имел никакого отношения — кроме того, что он пытался меня убить. Враждебность, возникшую в Индии, Пакистане и среди общин выходцев из Южной Азии в Соединенном Королевстве, было пережить гораздо труднее. Эта рана не затянулась и по сей день. Мне приходится мириться с неприятием с их стороны, но это тяжело. В те годы я опять спускался вниз по спирали, и мне потребовалось какое-то время, чтобы вновь нащупать почву под ногами и начать искать язык, при помощи которого я смогу защищаться, сосредоточившись на принципах свободы слова, предмете гораздо более широком, чем моя собственная работа, предмете, ставшем важной частью моей жизни. И если враждебное отношение ко мне продолжится, так тому и быть. Я отыскал свой дом в литературе и воображении и старался работать так хорошо, как только мог.

По поводу безопасности: шли годы, и я осознал, что, если я буду ждать, пока кто-то мне не скажет: “Теперь все в порядке, ты в безопасности”, этот день никогда не наступит. Единственным человеком, который мог принять решение выйти из-под безопасного колпака круглосуточной полицейской охраны и начать жить нормальной жизнью, был я сам.

Я принял это решение. Переезд в Нью-Йорк в 2000 году был одной из его составляющих, поскольку в американском правительстве не было силы, настаивающей на том, чтобы держать меня зажатым в кулак специальных служб. Я мог выбирать сам. Но это второе за мою жизнь трансконтинентальное путешествие было сопряжено со своими проблемами.

Третья реабилитация.

Чтобы выстроить заново жизнь свободного человека — реабилитироваться после мира максимальной безопасности и опять войти в приличное общество, — мне пришлось преодолеть страх того, что одно мое присутствие было способно зародить в других людях. Эндрю Уайли пригласил меня пожить вместе с ним и его женой Кеми в их доме в Уотер-Милл, Лонг-Айленд, и отметить мой переезд в Соединенные Штаты;

однажды вечером они пригласили меня на обед в модный ресторан в Ист-Хэмптоне, “Ник и Тони”, где я прежде не был. Вскоре после того, как мы заняли столик, мимо проходил художник Эрик Фишль и остановился поздороваться с Эндрю. Затем он сделал жест в мою сторону.

— Должны ли мы все испугаться и уйти из ресторана? — спросил он меня.

Я пытался сохранять выдержку.

— Что ж, — сказал я, — я пришел на ужин. Вы вольны делать все, что хотите.

Я усвоил урок, который преподала мне эта мимолетная встреча. Единственное, что я мог сделать, чтобы перестать казаться людям, скажем так, ходячей бомбой, это, часто появляясь в публичных местах, вести себя так, словно бояться совершенно нечего. Только публично демонстрируя, что я сам не испытываю страха, я смогу постепенно приучить людей к тому, что им нечего бояться, когда они сталкиваются со мной. Это было непросто. “Нью-Йорк пост” пометила на передовице мой портрет, а на одной из страниц — серию карикатур, рассказывающих о том, что в Нью-Йорке меня могут убить. Мой друг-американец написал мне из Лондона, что, если я немедленно не найму охрану, тогда “то, чего мы

все боимся” может произойти очень скоро. Милану было почти четыре года, и его мать, Элизабет, с неохотой разрешала ему приезжать и гостить у меня. Я и сам никоим образом не мог быть уверен, что мне нечего бояться. У меня были лишь мои инстинкты, и они говорили: *Живи. Живи.*

Так я и сделал. Я стал воплощать в жизнь тщательно продуманную программу посещений хорошо узнаваемых мест, где меня будут фотографировать и мое присутствие в которых, возможно, будет освещено в прессе. И это сработало. Люди привыкли к мысли, что я нахожусь рядом, живу собственной жизнью и что это не создает ни для кого никаких проблем. Я достиг свободы, начав жить как свободный человек. Я сделался приемлемым.

Я не руководствовался только одним инстинктом. Я встречался с офицерами из полицейского департамента Нью-Йорка в агентстве Уайли, и они заверили меня, что им неизвестно о каких-либо угрозах мне в Нью-Йорке.

— На самом деле, помогла публикация в “Пост”, — объяснил полицейский. — Ценно понимать, что публичность такого уровня не влечет за собой никаких осложнений. А после того, как появилась эта публикация, ничего не произошло.

По всем каналам, которые мы мониторим, заинтересованность была нулевая.

Эти слова успокаивали.

Стратегия моего возвращения имела неожиданный и нежелательный побочный эффект. Возможно, из-за того, что СМИ сочли мое появление после десятилетия почти полной невидимости шокирующим, и из-за того, что для таблоидов — на самом деле, не только для таблоидов — стало общей практикой отображать все, что я делаю или говорю, в негативном ключе, меня превратили, практически за одну ночь, в пустоголового повесу, охочего до знаменитостей “завсегдатая вечеринок”. Мало кто пытался понять, каково это — существовать в моей шкуре, и практически никто не радовался тому, что я наконец-то сумел вырваться из кокона безопасности. Образ “завсегдатая вечеринок” прожил удручающе долго. И после случившегося 12 августа к нему апеллировал даже один из моих ближайших друзей, заявивший в телеинтервью, что теперь, когда я больше не смогу посещать коктейльные вечеринки, есть возможность наконец сосредоточиться на творчестве. Или что-то в этом духе. Когда я возразил ему, он сказал, что пытался пошутить. Он признал, что это неправда, однако,

по его выражению, “прокатило”.

Возникает вопрос (мне достаточно часто задавали его после нападения): не было ли с моей стороны ошибкой создать для себя эту новую, беззаботную жизнь? Когда я был под прицелом, не следовало ли мне быть более внимательным, менее открытым, более чувствительным к опасности, таящейся в каждой тени? Может, я сотворил для себя идиотический рай и теперь, два десятилетия спустя, обнаружил, каким идиотом я был? Не сам ли я, так скажем, сделал себя досягаемым для этого ножа?

Иными словами — как все это время говорят очень многие — не был ли я сам в этом виноват?

Если говорить совершенно откровенно, то в те первые, исполненные физической слабости и упадка духа дни в травматологическом отделении больницы в округе Эри, я задавал себе этот вопрос. Но, окрепнув телом и духом, запретил себе об этом думать. Сожалеть о том, какой была твоя жизнь, по-настоящему глупо, сказал я себе, ведь о ней сожалеет человек, сформированный тем, о чем сожалеет. Быть может, есть исключения из этого правила, однако очень немногие их тех, кому следует сожалеть о собственных жизнях — Дональд Трамп, Борис Джонсон, Адольф

Эйхман, Харви Вайнштейн, — когда-либо это делали. Как бы то ни было, является этот принцип всеобщим или нет, в ситуации, в которой оказался я, он работает. Я прожил в Нью-Йорке почти двадцать три года и вел насыщенную, богатую событиями жизнь. На своем пути я совершал ошибки, их было много, и были вещи, которые я мог бы сделать лучше, — вот о чем я сожалею, но о своей жизни в целом? Я рад, что прожил ее, и я старался прожить ее так достойно, как мог.

Посттравматическое стрессовое расстройство может проявляться многочисленными способами: бесконечное прокручивание в мозгу травмирующего события, внезапные панические атаки, депрессии. У меня не было подобных симптомов. Страдал я — от чего и сейчас, когда пишу эти строки, продолжаю страдать по нескольку раз в неделю — ночными кошмарами, они были и остаются.

Лежа без сна в своей палате в Хэмоте, я слушал стоны и крики своих соседей. Чего я не слышал — это своих собственных ночных выступлений. Но кошмары были у меня каждую ночь, я метался по кровати, кричал и плакал, и если бы у кровати не было защитных ограждений с обеих сторон, непременно свалился бы на пол. Элиза, разбу-

женная этим моим шумом, подходила, брала меня за руку, ласково будила и говорила, что все в порядке.

Но все было не в порядке. В часы бодрствования я старался оставаться спокойным, собранным, исполненным оптимизма и решимости. Но когда я засыпал, все мои защитные преграды рушились, и меня посещали ночные кошмары. Мое бодрствующее "Я" с его вымученным спокойствием было, в определенным смысле, ложью. Дикий ночной язык моих снов сообщал правду. "Ночной язык" — это термин Джойса, но я воздержусь от того, чтобы попытаться воссоздать здесь язык "Поминок по Финнегану", титанической попытки Джеймса Джойса воспроизвести на страницах романа синтаксис нашего сознания во время сна. Вам придется довольствоваться более простым описанием моих сновидений.

Мои сны не повторяли нападение на меня, но были исключительно жестокими. В них "Я"-фигуру преследовал и атаковал враг, часто вооруженный копьем или мечом, как тот неприятель, что снился мне перед самым отъездом в Чатокуа. Порой местом действия была сцена, порой клетка, порой сельский пейзаж, порой городская улица. Но я всегда был застигнут врасплох, атакован,

очень часто терял равновесие, после чего катался по земле влево и вправо, пытаясь избежать ударов разящего меня сверху врага. В это время я таким же образом катался по кровати.

Не во всех снах я выступал главным героем. Мне снилось ослепление графа Глостера герцогом Корнуэльским в “Короле Лире”. Говоря точнее, снились мои воспоминания шестидесятилетней давности о том, как пятнадцатилетним школьником я с классом ездил в Стратфорд-на-Эйвоне посмотреть знаменитую постановку Королевской Шекспировской компании, “Лира” Питера Брука, в которой Пол Скофилд играл короля, Дайана Ригг — Корделию, а несчастного Глостера и злокозненного Корнуолла — Джон Лори и Тони Черч соответственно. “Сейчас твои глаза я по полу размажу!” “Помогите мне все, кто видят старцами себя! О боги, боги, боги!” “Мерзкое желе! Вот и растаял гадкий глянец твой!”[11] Мое юное естество трепетало от ужаса при этой сцене, и я не забыл ее до конца жизни. Однако я и подумать не мог, что своеобразное глостеровское несчастье падет и на меня. Но вот теперь это мне снится.

Был еще один странный сон, похожий на ожив-

---

[11] Примечания: 11
Перевод Ю. Лифшица.

шее великое полотно Теодора Жерико, “Плот «Медузы»”, за одним лишь исключением: все люди на плоту были сюрреалистами — Макс Эрнст, Рене Магритт, Сальвадор Дали, Луис Бунюэль, даже Леонора Каррингтон — и все они отчаянно боролись, стараясь вырвать друг у друга глаза.

Мне снилось, что я не могу вырваться из толпы людей с белыми керамическими лицами.

Мне снилось, что я в самолете, совершающем вынужденную посадку, и пассажиры кричат: “Мы все умрем!”

Мне снился обнесенный крепостной стеной город в осаде, и я во главе кавалерии галопом мчался спасти его, но в своем сне я понимал, что мы выдвинулись слишком поздно и что мы не успеем доскакать вовремя, чтобы его не успели разграбить и сжечь.

Мне снилось, как мало стоят человеческие жизни, которые продают и покупают на уличном рынке за устаревшие деньги — анны, пайсы; шиллинги, фартинги.

Мне снилось, что я возвращаюсь в свой возлюбленный Бомбей — не Мумбаи — и, едва выйдя из самолета, становлюсь на колени, чтобы поцеловать посадочную полосу, но, подняв глаза, вижу толпу, скандирующую “*Дафа хо*”. Убирайся.

Мне снились случайные убийства. И убийцей был я. И убийство оборачивалось радостью. Когда я просыпался, у меня в голове звучал Джонни Кэш, “Блюз тюрьмы Фолсом”. *Я застрелил мужчину в Рено, просто чтобы посмотреть, как он умирает.*

Предполагалось, что я начну разрабатывать левую руку или как-то ее использовать не раньше, чем через шесть недель. Она была заточена в свой лангет, словно птица в клетку. В течение этого срока мой эрготерапевт Роуз, дружелюбная, конкретная обладательница одного с моей внучкой имени, обучала меня, как мыться в душе, используя только одну руку, как жить, пускай и временно, в мире одноруких. А также в мире одноглазых. Когда не можешь видеть, кто или что приближается к тебе с правой стороны, ты должен приучить себя регулярно крутить головой, чтобы поглядывать в этом направлении. И ты должен попытаться сделать так, чтобы это не ввергло тебя в депрессию. Ты должен совершенствоваться в наливании воды в стакан, доверять мозгу, чтобы он мог необходимым образом настроиться и начать компенсировать твою утрату.

Твое дыхание должны регулярно проверять

— вдох, выдох, — существуют специальные приборы, определяющие функции внешнего дыхания. Сможете ли вы встать с кровати (при отключенной сигнализации) и пройтись? Сможете ли вы дойти до двери палаты и выйти из нее? Сможете ли вы пройти этаж до конца крыла и вернуться обратно? Сможете ли вы дойти до физиотерапевтического спортивного зала, где ваша улыбчивая, даже гламурная физиотерапевт Файе примет эстафету у Роуз? Сможете ли вы пользоваться велотренажером? А теперь можете ли вы ехать быстрее? А теперь, если мы увеличим сопротивление, сможете ли вы все равно это сделать? Десять минут? Двадцать? Сможете ли вы пройти круг по залу, перекатываясь с носка на пятку? Сможете ли идти спиной вперед? Боком? Подняться по этим ступенькам? Сможете ли пройти по небольшому лабиринту, который соорудила для вас Файе? Голова не кружится? С вами все в порядке? Сможете ли вы увидеть предметы, которые она разбросала по залу, какие-то ниже, какие-то выше, а какие-то на уровне глаз? Сможете ли вы пройти тесты, которые покажут, будет ли безопасно выпустить вас в мир? — О, вы еще не очень сильны, не очень твердо держитесь на ногах. — Ну вот, вы видите? Вы справляетесь

намного лучше. — Отлично. Теперь повторите все это еще по разу.

Вы очень целеустремленный, говорили мне и Роуз, и Файе. Это хорошо. Это поможет.

По четыре часа в день Роуз и Файе помогали мне стать лучше. Я становился сильнее и мог успешнее справляться с новыми ежедневными проблемами. И когда мне отменили блокирующий мочеиспускание препарат, я испытал прилив оптимизма. Я получил гранки “Города Победы”. Для меня это самый лучший момент всего процесса публикации книги, момент, когда ты в первый раз держишь в руках свою напечатанную книгу и чувствуешь ее реальность, ее жизнь. Из-за произошедшего со мной последнюю страницу “Города Победы”, где главная героиня романа, поэт Пампа Кампана, воспевает способность слов переживать империи, заканчивая фразой “Победителями остаются только слова”, уже активно цитировали. Элиза попросила меня зачитать эту страницу ей на камеру. Когда я это делал, у меня в горле стоял ком. Я с большим трудом сдерживал слезы.

По крайней мере я все еще был или вскорости снова стану автором, написавшим книгу.

Элиза попросила меня рассказать ей на камеру

о “Сатанинских стихах”.

> Когда я начал писать эту книгу, то даже не думал, что не имею на это права. У меня были эти истории, я хотел рассказать их и пытался найти путь, как это можно сделать. Вот и все, что я делал.

(Иногда я думаю, что принадлежу иному времени. Я помню себя ребенком в саду перед нашим домом в 1950-е годы, я слушаю, как мои родители с друзьями со смехом и шутками обсуждают все на свете под солнцем, от современной политики до существования Бога, не ощущая вынужденной необходимости корректировать или смягчать свои взгляды. А еще я помню себя в квартире у своего любимого дяди, Хамида Батта, который иногда писал сценарии для кино, и его жены, актрисы и танцовщицы по имени Урза, которая иногда играла в этих фильмах. Я наблюдаю, как они режутся в карты со своей богемной тусовкой, болтая при этом на еще более свободном языке обо всем и ни о чем, хохоча еще более заливисто, чем друзья моих родителей. В таких декорациях я усвоил свой первый урок о свободе выражения — что ее следует воспринимать как должное. Если ты боишься того, какие последствия может

иметь то, что ты говоришь, — ты несвободен. Когда я писал “Сатанинские стихи”, мне даже в голову не приходило бояться.)

> На самом деле, какое-то время я думал, что это будет не одна книга, а три. Одна – о деревне, ушедшей в море, вторая – о рождении новой религии и всем, что с ним связано, и третья, самая большая книга – о южноазиатских иммигрантах в современном Лондоне. Когда я летел, наверное, на литературный фестиваль в Австралию, в самолете я осознал, что все эти истории – эпизоды из жизни архангела Гавриила, и увидел, что это одна книга. Ее главного героя будут звать Джибрил Фаришта. Джибрил – Гавриил и Фаришта – ангел. Вот так это было. Я не стремился обидеть или оскорбить кого-то. Я пытался написать роман.

Честно говоря, я был бы счастлив больше никогда не говорить о “Сатанинских стихах”. Моя бедная оклеветанная книга. Быть может, настанет день, когда она и ее оклеветанный автор оба вновь обретут свободу.

Мне было гораздо приятнее думать о своей

новой книге. Мой добрый друг Мартин Эмис говорит: “Когда ты публикуешь книгу, тебе это либо сходит с рук, либо не сходит”.

Я надеялся, что в случае с ней мне это сойдет с рук.

Появились неподтвержденные слухи, что меня неустановленным способом доставили из Эри на Манхэттен и что теперь я стал пациентом в Раске. В течение нескольких дней после моего приезда на улице за больницей собирались журналисты. Когда Милан уходил от меня после своего третьего посещения, за ним по улице медленно поехала машина и какой-то человек позвал его по имени: “Милан!” Он продолжил идти, и машина продолжила следовать за ним, и человек опять окликнул его: “Милан!” Милану хватило смекалки повернуть направо, в противоположную ходу движения сторону, поэтому машина не могла преследовать его и дальше. Тот человек больше не появлялся, но Милан был встревожен. Тем не менее он сохранял спокойствие. Он был в Нью-Йорке, чтобы помогать ухаживать за папой, одно лишь это было важно.

В день нападения на дорожке за нашим домом собрались исключительно агрессивные фотографы, Элизу хватали, не давали ей пройти и

толкали, пока она пыталась дойти до приехавшей по вызову машины, к тому моменту уже объятая ужасом от мысли, что едет к своему умирающему мужу. Пережив такое, она не могла поступать, как я ей советовал, и просто не обращать внимания на папарацци. В ее глазах это были преследующие ее незнакомцы. Откуда она могла быть уверена, что в их руках нет ничего кроме камер?

Она ездила спать домой, а ночью любителей снимать сенсации там не было. Она могла избежать встречи с ними, если уходила рано утром, однако ей еще надо было работать, она вышла на завершающую стадию редактуры “Обещания”. С учетом того, что произошло в нашей жизни, это работа, мягко говоря, была непростой. Однако она — женщина волевая и справилась с этим. Выходя выгуливать собаку, пожилого бордер-терьера по кличке Хиро, она замечала притаившихся фотографов. Порой они сидели в машинах (к этому моменту она уже узнавала эти машины), порой опускали окна и наставляли на нее длинные свиные рыла свои фотокамер. Порой выходили наружу и делали снимки. Этот назойливый ритуал повторялся вновь, когда она выходила из дома днем, чтобы отправиться в Раск. Ни одна из

этих фотографий не была нигде опубликована. Она не была тем человеком, чье фото они хотели сделать, но все равно они третировали ее на протяжении нескольких недель. У свободы прессы есть такие грани, становиться на защиту которых довольно трудно.

Милан захотел поговорить о Трампе. Мне не хотелось совершенно. Однако я сказал:

— Если его переизберут, в этой стране, вероятно, станет невозможно жить.

Я увидел, как загорелись его глаза:

— Ты хочешь сказать, что можешь вернуться в Англию?

Я видел, уже не в первый раз, как сильно он этого хочет, и теперь, когда мы имели дело с последствиями нападения, а также в свете его настоящего страха перед полетами, он хотел этого еще сильнее.

— Не знаю, — ответил я. — Британия эпохи Брекзита тоже довольно омерзительна.

Однако, добавил я, еще до нападения мы с Элизой обсуждали перспективу проводить больше времени в Лондоне, поскольку, помимо прочего, там живут почти все близкие члены моей семьи. Но теперь неподходящее время для подобных обсуждений, о чем я ему и сказал. Мне просто

нужно было снова встать на ноги.

— Давай временно отложим этот разговор.

Я разрываюсь между Лондоном и Нью-Йорком. На самом деле, я предпочитаю жить в Нью-Йорке, но тяга к семье и большей части моих самых старых друзей очень сильна. Я до сих пор не могу ответить на вопрос Милана. Давайте временно отложим этот разговор.

Дни складывались в недели, я поправлялся. Но болезни еще не остались позади. Добавилось еще одно: у меня появилась проблема с глазом, моим единственным уцелевшим глазом.

В романе Джорджа Оруэлла “1984” люди, попадающие в комнату 101 в подвале Министерства Любви, сталкиваются в этой страшной пыточной с тем, что — по словам злодея О’Брайена, агента Полиции Мыслей, — является “самой страшной в мире вещью”. У каждого человека своя самая страшная в мире вещь. Для Уинстона Смита, главного героя романа, самая страшная в мире вещь — это крысы.

Для меня — так было всегда и остается до сих пор — ослепление.

Многие читатели “Города Победы” интересовались, была ли сцена, в которой героиню ослепляют, написана или переписана после нападения

12 августа. Некоторые считают, что поверить в то, что не была, сложно. Однако она не была переписана. В этой сцене я писал о страхе, преследовавшем меня всю жизнь: “самая страшная в мире вещь”. И вот теперь моего правого глаза больше не было, а левый страдал от макулярной дегенерации, такого состояния сетчатки, которое может привести к полной потере зрения. И это был единственный глаз, что у меня остался.

Лечение, которое я получал вот уже несколько лет, состояло в инъекциях непосредственно в белок глаза, которые я делал примерно раз в месяц. Мне сделали одну такую инъекцию, пока я был в Раске, а после выздоровления я вернулся к своему постоянному глазному врачу, который сообщил мне, что я удивительно хорошо реагирую на лекарственную терапию и что состояние моего глаза стабильно.

Я могу лишь надеяться на то, что так и будет продолжаться. Если же нет, я окажусь запертым в комнате 101 до конца своей жизни.

В дополнение к сказанному: мое кровяное давление внушало опасения. Оно было низким, а когда я вставал, часто еще сильнее падало, у меня начинала кружиться голова, и мне приходилось садиться. Я сказал одной из медсестер, которая

пришла проверить мои жизненные показатели, что удивлен, поскольку раньше у меня никогда не было проблем с давлением. Она ласково ответила:

— Вы же потеряли так много крови, понимаете.

Мне посоветовали носить корсет, которые плотно застегивался на липучки, чтобы избежать внезапного падения давления. Это помогло. Дважды мне сделали переливание крови. Это тоже помогло. Мне также назначили препарат, призванный поднять мое давление, и он начал работать. Показатели все еще были низкими, но они находились на нижней границе допустимой нормы. Что было не так уж и плохо.

За долгие недели в Раске я начал терять сметку. Я стал раздражаться по мелочам — к примеру, из-за времени, через которое медсестра оказывалась в моей палате после того, как я позвонил в колокольчик, требуя ее внимания, — это могло стать настоящей проблемой, если бы мне было нужно отправиться в ванную, а я не мог самостоятельно встать с кровати из-за того, что та начнет вопить. (К этому времени я увереннее стоял на ногах и был полностью в состоянии дойти до туалета, но оставался пленником своей кровати.)

Все это время я был, как я полагаю, терпеливым пациентом, но сейчас пребывал в нетерпении. Я сказал Элизе:

— Пора обсудить дату моей выписки.

Нам назвали ориентировочную дату выписки — пятница 23 сентября, — то есть ровно спустя три недели после моего прибытия в Раск и ровно шесть недель после нападения. Но накануне этого дня мне сказали, что хотят отложить мою выписку по крайней мере на несколько дней.

Их главный — я буду называть его Доктор О. — зашел осмотреть меня во время обхода и сообщить об этом. Чтобы оценить мое состояние, собралась команда врачей, и это было их коллективное мнение. Но я всем сердцем настроился на ту дату, и отсрочка казалась невыносимой. У меня случился эмоциональный срыв. Мне нужно домой, сказал я. Это место становится для меня вредным. Со мной в достаточной степени все в порядке. Мой физиотерапевт, Файе, сказала, что я прошел тесты, которые позволяют ей заключить, что я готов к выписке. Мой эрготерапевт, Роуз, тоже говорит, что удовлетворена моими успехами. Травмы, похоже, залечились. Кровяное давление под контролем. Отпустите меня.

— Если вы уедете, — мягко сказал мне Доктор

О., — это пойдет вразрез с медицинскими рекомендациями.

— Хорошо, — ответил я, и это прозвучало излишне эмоционально, — я согласен на это.

Этот разговор состоялся, если память мне не изменяет, в среду. А в четверг, встав с кровати (к этому моменту ее заставили замолчать), я почувствовал по-настоящему сильное головокружение. Я быстро сел. Я ошибался, а доктора были правы. Мне необходимо остаться до тех пор, пока мое кровяное давление на самом деле не будет взято под контроль.

В это же время Элиза беседовала с Самин. У них обеих были опасения по поводу моего возвращения домой. Раз за нашим домом следят папарацци, за ним могут следить и другие люди, и у этих других людей при себе может быть кое-что другое, помимо камер с длинным объективом. Именно Самин первой сообщила мне, что у Элизы появился другой план. Наши хорошие друзья предложили нам воспользоваться своим лофтом в Сохо. Они были в Лос-Анджелесе и не планировали возвращаться в Нью-Йорк раньше, чем на День благодарения, и очень хотели помочь. Они предупредят швейцара, что мы приедем, и назовут ему псевдоним, который мы с ними сочиним.

Это будет исключительно приватный, а потому гораздо более удачный, безопасный способ снова вернуться в мир. Когда Самин сказала мне об этом, я отреагировал негативно. Я хотел просто поехать домой. И больше никаких остановок в пути. Я хочу спать в своей собственной постели, и чтобы меня окружали мои книги. Однако увидев, что Элиза и Милан едины в своем предпочтении в пользу варианта с Сохо, был вынужден сдаться.

— Ладно, — согласился я, — поехали туда.

Элиза встречалась с представителями компаний, предоставляющих профессиональную охрану. Она сообщила мне, какую из них выбрала, и мы начали с ней сотрудничать. Это будет недешево, однако, как минимум на ближайшее будущее, представляется необходимым. Когда наступит время, наша охранная компания пришлет людей, чтобы забрать меня из Раска, она же согласует все с полицией Нью-Йорка. Я чувствовал себя посылкой, которую готовят к отправке, но принял эти правила.

В понедельник 26 сентября медики Раска дали мне зеленый свет. Реабилитация была окончена. После более шести недель, проведенных в двух больницах, я был готов снова вернуться в мир.

Часть вторая
Ангел жизни



5. Возвращение домой

План состоял в том, чтобы уехать из Раска в три часа ночи, так тихо, как только возможно, и добраться до Мерсер-стрит по пустому ночному городу, избежав любопытных взглядов. Я собрался и был готов к часу ночи, Элиза прибыла час спустя, вместе с ней для моральной поддержки была наша дорогая подруга Суфала, уникальная исполнительница музыки на табле. Мы радостно обнялись. Элиза очень переживала, но пыталась не показывать этого, видя, как сильно я возбужден. (И тем не менее я заметил ее волнение.) Нам выдали список лекарств, несколько склянок с таблетками (болеутоляющее, если понадобится, липитор и что-то, чтобы поднять давление), ингалятор от астмы и какую-то глазную мазь с антибиотиками. Я надел корсет на липучках, чтобы передвигаться без ощущения дурмана в голове. После этого кто-то из команды охраны встал у двери вместе с представителем полиции Нью-Йорка, и мой исход начался. За день до этого меня водили вниз и показывали боковую дверь, которой мы воспользуемся, чтобы я заранее знал маршрут и был уверен, что сумею преодолеть

несколько ступенек, ведущих на улицу. *Меня привезли сюда на носилках, а ухожу я на собственных ногах*, подумал я, позволив себе минуту самовосхваления. Большой черный внедорожник "эскалейд" ждал нас с работающим двигателем. Из-за однорукости мне было непросто в него забраться, но я все же сумел сделать это без посторонней помощи. Элиза и Суфала тоже уселись, и мы двинулись в путь.

Я никогда не ездил по Манхэттену в таком радостном возбуждении. Помню, что у меня было похожее чувство, когда 29 июня 2016 года я возвращался домой на желтом такси сразу после того, как был признан американским гражданином. В тот день город внезапно показался мне другим, словно теперь он принадлежал мне или я — ему. Это было мощное чувство. Сегодняшнее было еще сильнее, и, проплывая в нью-йоркской ночи, я дал себе обещание: *Я насколько возможно и как можно скорее верну себе свою старую жизнь*.

Когда мы зашли в здание на улице Мерсер, швейцар приветственно кивнул нам — без тени узнавания. Мы поднялись, и, заходя в прекрасную квартиру наших друзей, я подумал: я свободен. Я жив, и я свободен. Была половина четвертого утра, и я отправился к большой, удобной, точно

не вопящей кровати. Я улегся в нее, Элиза легла рядом, а потом внезапно начала неудержимо рыдать, словно выплескивая из себя пережитой стресс.

— Мой муж дома, — рыдала она, — мой муж дома.

Бывают моменты, такие как этот, которые очень тяжело описывать.

Мы могли спать сколько угодно, нас не прерывали в четыре утра лаборанты, берущие кровь, в пять утра медсестры, а в шесть врачи. В больнице темнота — мимолетная благодать, в которой ты лежишь, — твой недруг, так что удобство кровати и зашторенная темнота Мерсер-стрит были умиротворяющим подарком. Нам не хотелось начинать день. Когда мы наконец встали и раздвинули шторы, распростершийся перед нами город был словно дар. Окна лофта выходили на три стороны, так что мы могли видеть центр города с парящим над ним зданием Всемирного торгового центра 1, в западном направлении Виллидж до Гудзона, а в северном — жилые башни Университета Нью-Йорка на Бликер-стрит и далее, вплоть до Эмпайр-стейт-билдинг. На крыше была терраса, где хозяева разбили восхи-

тительный сад. Пусть это и не был дом, но там было почти так же хорошо. Мы словно поехали в отпуск.

Несколько первых дней мы были не одни. Элиза хотела, чтобы у нее были обученные помощники, если со мной не все будет гладко, и наняла круглосуточных сиделок, дневную и ночную, чтобы они постоянно были с нами. К счастью, вскоре мы пришли к согласию, что в этом нет необходимости. Находиться не в больнице — одно это уже было лечением. С каждым днем я становился крепче.

Мир, тишина и иллюзия того, что мы вернули себе свою частную жизнь, продлились два дня. А потом меня настиг и взял в свой оборот мир медицины, он сообщил мне, что мне еще предстоит пройти большой путь. Говоря точнее, физиотерапевт, разрабатывающий мою руку, Моника, посетила нас в первый раз. Это была миниатюрная американка китайского происхождения, улыбчивая, доброжелательная, книголюб и большой читатель, безгранично жестокая во всем, что касалось возможности сделать так, чтобы моя рука вновь заработала.

— Будет больно.

— Ой!

— Будет еще больнее.

Она должна была приходить три раза в неделю. Прежде всего во время своего первого посещения она срезала лангет.

— Он больше вам не нужен.

Моя левая рука тут же почувствовала, что освободилась от кандалов, даже несмотря на то, что Милан потом сказал: “На самом деле, папа, ты совсем не можешь шевелить пальцами”. Моника сказала, что сухожилия зажили. Я миновал шестинедельный рубикон, и теперь, сказала она, пришло время делать упражнения и пользоваться рукой везде, где это только возможно, — легко сказать, но трудно сделать, когда твоя рука остается полностью обездвиженной.

Сухожилия проходят по каналам внутри руки, и теперь, когда они снова срослись, их нужно было заново научить двигаться вверх и вниз по этим каналам. Я наивно полагал, что физиотерапия сотворит это чудо за несколько месяцев. Теперь я узнал, что все далеко не обязательно будет так однозначно. Существовал реальный шанс, что, хотя сухожилия и начали плавно скользить по своим каналам, позволяя моей руке выполнять свои обычные задачи — сжиматься, разжиматься и так далее, — была и малоприятная вероятность,

что они вместо того, чтобы расслабиться, затвердели в своих каналах, навсегда застыв в одном положении, и тогда могла понадобиться более серьезная операция, чтобы попытаться их отделить. От этой новости у меня защемило сердце, но она же побудила меня отдать на реабилитацию все силы. Будет больно, ну и пусть. Я хотел вернуть себе руку.

Первой задачей Моники было разобраться с запекшейся кровью, которая деформировала мне руку и тоже мешала ей начать двигаться. Моника счищала ее во время каждого своего визита. У нее был набор разнообразных инструментов. Они напоминали сине-зеленых полупрозрачных морских чудовищ, а работали как орудия пыток. Моника показала мне упражнения, которые я должен был выполнять в ее отсутствие, и вручила жужжащую машинку для обработки рубцов.

— Я не могу делать это с той же силой, что и вы.

— Понимаю, — ответила она. — Трудно причинять боль самому себе.

История с моей рукой растянется еще на шесть месяцев. Помимо занятий с Моникой, раз в шесть недель или около того у меня были запланированы визиты к кистевому хирургу из Лангона,

больницы Университета Нью-Йорка, доктору В. Нашу первую встречу никак нельзя было назвать обнадеживающей. Он прямо заявил мне:

— В случае таких серьезных травм, как у вас, мы обычно не даем особо оптимистичных прогнозов.

Стоял вопрос с двигательной активностью, а после встал и вопрос с чувствительностью. Что касается двигательной активности, поначалу она была совсем слабой. Что касается чувствительности, она до некоторой степени присутствовала в большом и указательном пальцах, отсутствовала в среднем и безымянном и совсем слабо проявлялась в мизинце. В ладони между рубцом и кистью чувствительность была, но выше рубца ее не было. Доктор В. затруднялся сказать, насколько чувствительность может вернуться, если сможет вернуться вообще. Он надеялся, что работа Моники хоть как-то поможет. “На остальное мы можем только надеяться”.

Я вышел из кабинета доктора В. исполненный решимости доказать ему, что это не так.

— Смелее, Моника, — попросил я ее на следующем занятии.

— Будет больно.

— Ой!

Позвольте мне заглянуть в будущее. После многочисленных упражнений суставы на моих пальцах начали снова сгибаться. Цель, которую мы перед собой ставили, — сделать так, чтобы я сумел сжать кулак. Первым шагом было дотронуться до ладони кончиками пальцев. В день, когда это получилось, мне хотелось аплодировать самому себе. Затем, постепенно, у меня стало получаться загибать пальцы внутрь. Так и в кулак руку получится собрать.

Мне также нужно было вытянуть большой палец вдоль ладони и дотронуться им до кончика мизинца. (Вы наверняка заметили, что я отказываюсь называть мизинец на американский манер “пинки”.) Долгое время это казалось путешествием по межзвездному пространству. И вот — о-па! — настал день, когда все изменилось. Большой палец, мизинец, познакомьтесь друг с другом. Я совершенно уверен, что вы уже встречались раньше.

Раз в месяц Моника отмечала, какие произошли улучшения. 8 марта 2023 года, ровно через семь месяцев после того, как нож вонзился мне в руку, результаты были хорошими. Кровь ушла из раны, длинный рубец сделался мягким и больше не мешал движениям большого пальца, подня-

тые вверх в известном жесте большие пальцы левой и правой руки выглядели одинаково, мой левый кулак был почти таким же, как и правый, пальцы двигались независимо друг от друга — спасибо шлифовальной машинке, — и рука становилась все сильнее. Пока еще не слишком хорошо, но лучше. Что касается чувствительности, она улучшилась незначительно. С большим и указательным пальцами все было нормально, увеличилась чувствительность у мизинца, но с двумя оставшимися пальцами прогресса не было. При этом то, что называют “защитными рефлексами”, вернулось и к этим пальцам. Я чувствовал горячее, так что не обожгусь, чувствовал острое, так что не порежусь. Как мне сказали, эти ощущения всегда возвращаются самыми первыми. До чего же умно устроено человеческое тело, с восхищением думал я. Что же это за чудо — та оболочка, которую все мы занимаем. *Что за мастерское создание — человек!*[12]

На следующей неделе я вновь посетил доктора В. и продемонстрировал свои новые навыки. Он сказал мне то, что мечтает услышать каждый пациент:

---

[12] Примечания: 12
Шекспир “Гамлет”. Акт II сцена 2. Перевод Б. Пастернака.

— То, как восстанавливается ваша рука, — чудо.

Чудо! Да! Да, это именно оно!

— Чтобы вернулась чувствительность, может понадобиться еще полгода, вам нужно будет просто ждать, поскольку нервы…

Нервы восстанавливаются медленно! Я знаю, что нервы медленные! Все нормально!

— На самом деле может пройти год, и только тогда вы поймете, насколько вернулась чувствительность. Вы можете печатать?

Да. Я могу печатать. Я могу завязать шнурки, откупорить бутылку вина, нажать на дверную ручку и держать полный стакан воды. Я почти человек.

— Вам больше не нужно приходить ко мне, — заявил доктор В., — и Моника вам тоже больше не нужна.

Мне стало немного грустно. Мы отлично поладили с Моникой. Она выказала намерение прочитать все мои книги в хронологическом порядке. К этому моменту она закончила читать “Гримус” и прочла большую часть “Детей полуночи”.

— У вас впереди длинный путь, — сказал я ей.

— Я пройду его, — ответила она, — я открываю

для себя, как замечательно вы пишете.

Мы обнялись, и она ушла. Со мной осталась рука, которая снова могла двигаться.

Перемотаем назад.

Пусть я оставил больницу в конце сентября 2022 года, больница меня не оставляла. С той недели, когда Моника начала работать с моей рукой, в течение трех месяцев я амбулаторно посещал специалистов по самым разным регионам моей анатомии, которые осматривали меня, довольно часто весьма скрупулезно. Под конец этой долгой череды осмотров я знал устройство Лангона, больницы Университета Нью-Йорка назубок. А эта больница, в свою очередь, знала практически все обо мне и моих внутренностях.

(Мы переживали по поводу безопасности, и во всех походах к врачу меня сопровождал кто-то из охранников, которых мы наняли. Нам очень помогло, что мы жили в лофте в Сохо, сохраняя инкогнито, и мои приезды в больницу и отъезды из нее не были замечены широкой общественностью.)

Первым был назначен визит к урологу. Доктору У. было необходимо убедиться, что от проблем с мочеиспусканием, появившихся у меня в Раске, я избавился. Я заверил его, что так и есть. Ему по-

требовалась кровь на анализ. Ему потребовалась моча на анализ. Я послушно предоставил и то и другое. Тогда он спросил, когда я в последний раз проверял свою предстательную железу. Довольно давно, признался я ему.

— Так я посмотрю, — сказал он.

Ах, ну да, конечно, почему бы нет. Я здесь из-за нападения с ножом, но давайте проверим предстательную железу, разумеется. Нагнитесь, раздвиньте ноги, лубрикант, резиновые перчатки, оох. Неприятно. Теперь еще неприятнее. Не спешите, работайте спокойно. И… все позади.

После осмотра сюрприз ниже пояса.

— Я что-то почувствовал, — сказал доктор У., — что-то маленькое. Маленький шарик на простате. Нужно провериться. Я закажу МРТ.

Я не находил слов. Как же так? После того как я едва выжил после покушения, мне теперь придется столкнуться с перспективой рака. Такое невозможно принять. Это *нечестно*.

— Возможно, там ничего и нет, — сказал доктор У.

Снова перемотаем вперед. Через неделю после приема у доктора У. мне сделали МРТ, а заодно и УЗИ правой ноги, которая визуально казалась толще левой, так что с помощью УЗИ нужно было

проверить, нет ли там тромбов. По дороге домой я просматривал приложение больницы Лангон. Результаты опубликовали быстро. Были две новости, хорошая и плохая. Хорошая: тромбов нет, с ногой все в порядке. Плохая по большей части была сформулирована на непонятном медицинском наречии, однако включала в себя, словно написанные светящимися буквами, простые и понятные английские слова *предположительно рак*. По шкале вероятности от 1 до 5, которую они использовали, мне присвоили мерзкие 4 балла.

Предположительно рак.

Телефонный разговор с доктором У. Он видел заключение, но кое-что ставит его в тупик. Обычный тест для определения рака простаты — это ПСА, анализ крови, измеряющий специфический антиген простаты в крови. Высокий ПСА указывает на опасность, низкий дает повод успокоиться. У меня ПСА был низкий, 2.1. По нормам это должно означать “проблем с простатой нет”. Но результат МРТ гласил “*предположительно рак*”. Эти результаты противоречили друг другу. Доктор У. обратился за вторым мнением к заведующему отделением урологии, который тоже должен со мной связаться. Когда мы организовали с ним видеоконференцию, оказалось, что этот

господин — Доктор У-2 — американец индийского происхождения и до некоторой степени мой поклонник.

— Когда вы лежали в Раске, — сказал он, — у вас были урологические проблемы, включая инфекцию мочевыводящих путей.

Да, подтвердил я, довольно сильная инфекция мочеполовых путей, и я только сейчас перестал принимать антибиотики.

Он сказал, что, по его мнению, шарик на моей простате мог появиться вследствие этой инфекции.

— Она могла вызвать воспаление, — рассуждал он. — Думаю, вам слишком рано сделали МРТ. Нужно подождать несколько недель, а потом повторить исследование.

Так значит, рака у меня, возможно, нет? Предположительно не рак? Он ничего не утверждал: надо дождаться результатов, сказал он. Позже я поговорил со своим терапевтом, который был настроен более обнадеживающе.

— Раз ПСА такой низкий, то этот главный уролог, скорее всего, прав, это воспаление, вызванное инфекцией мочевыводящих путей.

В любом случае, продолжил он меня обнадеживать, даже если это рак, рак простаты поддается

лечению, и мне не стоит беспокоиться, что мы потеряем время, пока ждем второго МРТ.

— Он распространяется очень медленно.

Так я остался в подвешенном состоянии.

Все продвигалось леденяще медленно. Спустя три недели у меня был очный прием у Доктора У-2 — и вот оно опять, подумал я, нагнитесь, раздвиньте ноги, лубрикант, резиновые перчатки, оох. Еще оох. И еще оох. И… все позади.

— Правда? Никакого шарика? Ничего?

— Ничего.

— Это же хорошо, правда? Раз нет шарика, нет и рака?

— Это хорошо.

— Значит это было воспаление, вызванное инфекцией мочевыводящих путей?

— Думаю, да.

— И теперь обо всем этом можно забыть?

— Что ж, — сказал Доктор У-2, опуская меня на землю, — нам нужно подождать еще несколько недель и снова сделать МРТ. Если там все будет чисто, возможно, не нужно будет брать биопсию иглой.

Биопсия иглой подразумевает, что мои задранные вверх ноги широко разведут и зафиксируют специальными подпорками. Иглу будут вводить

через промежность. Вся процедура продлится около десяти минут. И будет крайне неприятной.

— Надеюсь, это не понадобится, — потухшим голосом сказал я.

Я почти никому не рассказывал об опасениях, связанных с простатой. Это пока что не рак, решил я, а слово на букву “Р” совершенно точно посеет панику в семье. Не нужно, чтобы они паниковали раньше, чем появится что-то, из-за чего стоит паниковать. Я поделился этим с Элизой. Но от остальных предпочел держать в секрете.

Второе МРТ провели в декабре, спустя пять недель после осмотра у Доктора У-2 и спустя два месяца после получения заключения *предположительно рак*. На этот раз исследование было чистым. По шкале от 1 до 5 я меня на этот раз оценили на единицу. Никаких шариков. У меня нет рака простаты. Вселенная не была настолько жестокой, хотя ей и понадобилось два долгих месяца, чтобы сообщить мне об этом. Тогда я все рассказал Самин. Она очень сердилась, что я не поделился с ней этим раньше.

Еще в октябре, через неделю после того, как мы переехали в Сохо, у Милана и Элизы, у обоих был положительный тест на ковид. Мой был отрицательным, но ни он, ни она не могли находиться

со мною рядом. В течение недели я полагался на друзей, снабжавших меня едой и всем необходимым. Чередование хороших и плохих новостей продолжилось. На следующее утро после того, как Милан и Элиза получили положительные тесты, у меня был назначен прием у ухогорлоноса, который должен был проверить, как заживают глубокие раны у меня на шее. (Я думал о нем как о Докторе УГО, словно он был ожившим древним деревом из “Властелина колец”.)

— Хорошие новости, — провозгласил Доктор УГО, — все выглядит хорошо. Отлично залечилось.

В тот день впервые за семь с половиной недель я смог побриться (аккуратно). Это казалось громадным шагом вперед. Однако в тот же день я посетил кардиолога. Доктор Сердце захотел еще раз просканировать область под моим правым легким. Сканирование показало, что жидкость, которую мне откачивали в больнице в Эри, скопилась вновь. На следующий день в восемь утра мне провели процедуру, чтобы ее дренировать. В этот раз ее накопилось даже больше, чем в первый: более тысячи кубиков. Уровень белка в моей крови был очень низким, что было результатом серьезной кровопотери и, как мне сказали,

могло стать причиной скопления жидкости. Мне прописали диету с высоким содержанием белка и велели прийти через пару месяцев на повторное сканирование.

— Если жидкость накопится снова, — сказал Доктор Сердце, — будем думать дальше.

Это прозвучало угрожающе.

Через пять дней у Элизы тест был отрицательный, и я испытал громадное облегчение, когда она вернулась на Мерсер-стрит. Тесты Милана оставались положительными еще пять дней. Еще до того, как он вернулся, я получил одну очень хорошую новость.

Медицинский прием, которого я больше всего страшился, касался моего глаза. Он состоялся 10 октября, в тот же день, что и первое МРТ, то самое, которое показало, что у меня может быть рак простаты, так что я был не в лучшей форме. Когда я был в Раске, меня приходила проконсультировать известный окулист, доктор Ирина Белински, и мой глаз все еще был раздут, хотя и находился уже за зашитым веком. (Я называю ее настоящим именем, поскольку она оказала на меня огромное эмоциональное воздействие, работая с этой, самой страшной из моих ран; никакого Доктора Глаз, когда речь идет о ней.)

— Мы должны дождаться, когда спадет отек, — сказала она тогда, — после этого можно будет выбирать, как дальше действовать.

Я ужасно боялся этого выбора. Я попросил Элизу пойти со мной на этот прием. Мне было нужно, чтобы кто-то держал меня за руку.

Доктор Белински осмотрела глаз.

— Отек спал, — заключила она, — теперь веко сможет закрываться само. Так что, если вы хотите, я могу прямо сейчас разрезать нитки.

— Это больно? — спросил я совсем по-детски. — Надеюсь, что вам не придется потом снова накладывать швы, потому что это на самом деле очень болезненно.

— Они вам больше не понадобятся, — ответила она, — не переживайте.

Иссечение нитей прошло быстро, и глаз тут же почувствовал облегчение, по крайней мере он вернулся в естественное состояние.

— Теперь у вас есть три возможности, — объясняла доктор Белински, — есть три пути, по которым вы можете идти дальше. — Возможность номер один: мы ничего не делаем. Если глаз находится в покое, нет воспалений, нет какого-либо дискомфорта, мы можем оставить все как есть.

— Возможность номер два: мы можем изготовить для вас керамический глаз. Он будет высочайшего качества, будет полностью совпадать по цвету с вашим другим глазом и будет подогнан, чтобы перекрывать покалеченный глаз. Будет выглядеть очень естественно. Некоторым людям такие глаза очень нравятся, другим кажется, что это неудобно.

— Возможность номер три — удалить глаз. После этого нужно будет подождать примерно шесть недель, чтобы глазница зажила. Потом вам сделают протез, искусственный глаз. Очевидно, что это самый радикальный вариант.

Я был благодарен ей за четкость объяснений и сразу же понял, какую возможность предпочту.

— Я никогда не мог носить контактные линзы, — признался я. — Меня бесит одна мысль о том, что придется вставлять какие-то предметы себе в глаза, а потом доставать их оттуда и делать так каждый день. Что касается возможности номер три… Честно признаться, после всех хирургических вмешательств, что я пережил, меня совсем не прельщает перспектива еще одного. Поэтому, если существует возможность сделать что-то с глазом, избежав операции, я воспользуюсь ею. Я выбираю вариант номер один. Не будем

ничего предпринимать.

— Я только хотела удостовериться, что вам так удобно, — согласилась доктор Белински. — Вам нужно будет продолжать каждый день наносить на глаз мазь эритромицин.

— Мне удобно, — ответил я. — И да, я буду наносить мазь.

— Хорошо, — сказала она, — только помните, что это решение не навсегда. Если через год, через два года, через пять лет глаз воспалится, возвращайтесь, и тогда мы с вами — если понадобится — выберем другую возможность.

У меня словно камень с души свалился. Мне снились кошмары о том, как мой глаз удаляют из моей головы, это было похоже на сюрреалистический фильм "*Un chien andalou*", "Андалузский пес", Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали, в котором облако, пересекающее полную луну, превращается в бритву, рассекающую насквозь человеческий глаз. *Ничего не предпринимать* звучало для меня прекрасно. Элиза увидела, как мои брови от напряжения поползли вверх, и сжала мою руку.

— Хорошо, милый, — сказала она, — мы так и сделаем.

Спустя два дня я должен был прийти вновь, чтобы мне в левый глаз сделали укол против

макулярной дегенерации.

— Позаботьтесь об этом глазе, доктор, — сказал я, — это все, что у меня осталось.

Такова — по крайней мере на настоящий момент — история моего глаза (глаз).

Появилось чувство, что наш мир стал чуть менее изолированным. Милан освободился из ковидного заключения, и мы снова стали выходить в свет. Элиза поняла, что может оставить нас вдвоем смотреть “Элвиса” База Лурмана и отправиться на день рождения подруги. Губернатор штата Нью-Йорк Хэти Хочул позвонила мне выказать сочувствие и солидарность, что было очень мило с ее стороны. Нас навестило несколько моих самых старых и верных друзей, некоторые из них прибыли из самого Лондона. И все они были потрясены тем, как хорошо я себя чувствую. Я никому не рассказал о кочках и колдобинах на дороге к здоровью (или на моей предстательной железе).

Мы смотрели в интернете прямую трансляцию мероприятия, организованного в мою поддержку в Британской библиотеке в Лондоне. К этому моменту подобные мероприятия уже прошли в Торонто и в Дании, не считая самого первого, того, что прошло в Публичной библиотеке Нью-

Йорка. В разговоре с Миланом я пошутил, что все эти сборища напоминают поминки:

— Когда я умру на самом деле, ничего такого происходить не будет, поскольку все это уже было.

Милану эта шутка не показалась смешной, и я не стал говорить ему, что происходящее напомнило мне забавную историю из жизни Бертрана Рассела, которую он описывает в автобиографии. Во время поездки в Китай он попал в больницу, но новость добралась в несколько преувеличенном виде, в прессе, появились уведомления о его смерти, и все газеты напечатали некрологи, которые он читал на больничной кровати в китайской больнице, когда ему доставили газеты.

Конечно же, я был тронут этими потоками любви и поддержки. Меня также радовали результаты некоторых медицинских обследований, которые я проходил. Общий осмотр хирурга, к примеру, показал, что все колотые раны у меня на груди и в области живота зажили. Было приятно это слышать. Однако впереди меня ждали новые кочки на дороге к здоровью.

Мы подходим к истории о моих губах.

Один из нанесенных мне в шею ударов перерезал нерв и привел к частичному параличу

нижней губы справа. Это, как мне сказали, было невозможно исправить. Из-за этого казалось, что я непроизвольно кусаю губу, когда ем. Мой рот перестал нормально открываться — я мог открыть его где-то наполовину по сравнению с тем, как это было до нападения. Это привело к тому, что мне стало труднее принимать пищу. К счастью, проблем с глотанием не было, но еду приходилось резать на более мелкие кусочки. Сэндвич в мой рот не помещался. Уголки рта постоянно напрягались, что приводило к странным побочным эффектам. Если я брал в рот что-то холодное, то ощущал волну холода, которая проходила из левого угла рта к челюсти, возникало ощущение, что оттуда что-то вытекает. Но ничего не текло. Просто это был мой новый рот, с которым я должен был научиться жить дальше. Вылечить это было нельзя.

Меня направили на консультацию к женщине, которая работает с онкобольными и, как мне сказали, знает множество упражнений для рта. Я сходил к ней. Упражнения имелись. Я научился их делать. И делаю до сих пор. На самом деле они не помогают. Она порекомендовала мне обратиться к известному хирургу-стоматологу, который, возможно, сможет изготовить какое-то

приспособление, которое я буду закреплять во рту и тем самым немного приподнимать верхнюю губу, чтобы перестать ее прикусывать. В конце октября я отправился на прием к известному хирургу-стоматологу. Он изготовил для меня нечто, что, по моему мнению, должно называться протезом, штуковину, которая крепится на мои зубы с правой стороны — она на самом деле приподнимает верхнюю губу, и когда я ее надеваю, мой рот выглядит скорее нормально, и мне проще есть.

На все это ушло много недель. Когда протез изготовили и подогнали — это произошло в конце ноября, — мне понадобилось какое-то время, чтобы к нему привыкнуть, но затем я начал чувствовать себя естественно, я даже не замечал, что ношу его. Это было замечательно. Неприятным сюрпризом стал выставленный счет. Как оказалось, моя страховка не покрывает ни услуги известного хирурга-стоматолога, ни сам его аппарат. Никто не сообщил мне об этом, что, как потом признал помощник хирурга, было их ошибкой. Если бы я знал об этом заранее, то, возможно, предпочел бы обойтись без протеза.

Счет, в который не были включены услуги известного хирурга-стоматолога, составлял восемнадцать тысяч долларов.

Через восемь недель после приезда в Нью-Йорк, 25 октября, Милан отплыл домой. Я был счастлив, что он пробыл со мной так долго. То, что я чувствовал его любовь, помогло мне вновь обрести равновесие. Когда он уехал, мне стало не по себе в нашем прекрасном временном пристанище. Я хотел быть в своей собственной спальне, среди своей собственной привычной обстановки. Журналистское безумие вокруг моей персоны улеглось, папарацци начали скучать и все чаще не показывались в нашем квартале. Пришло время возвращаться.

Милан высадился на берег в Саутгемптоне 1 ноября и поездом вернулся в Лондон. Через три дня после этого пришел мой черед путешествовать — пусть расстояние было более скромным, но эмоциональное значение у этого путешествия было громадным. Я ехал домой.

В признанной классикой детской книге Кеннета Грэма “Ветер в ивах” Крот, оставивший свою кротовью нору ради того, чтобы “кататься себе, слоняться на лодочке” по реке со своим другом Водяным Крысом, переживая за своенравного и неудержимого мистера Жабба из Жаббз-Холла, тяжело бредет ночью в компании Крысси через то, что считает “странной страной”, и вдруг вне-

запно оказывается во власти запаха:

> Именно такой призыв донесся из темноты, и Крот задрожал всем телом, почуяв в нем что-то очень знакомое…
>
> Дом! – вот что означал этот ласковый зов, эти мягкие прикосновения, растворенные в воздухе, эти невидимые ручки, протянутые к нему, увлекающие за собой. Где-то совсем близко, совсем рядом его дом!

И вот, следуя за запахом, он находит свой старый дом, где после приятного ужина устраивается на ночь в своей собственной кровати и размышляет:

> Крот видел, как незатейлив и прост – даже тесен! – был его дом… И все же… Как отрадно знать, что можно всегда вернуться сюда, что есть такое место на Земле, где все принадлежит только ему! Где он может рассчитывать на взаимность и теплоту, что бы там ни случилось.[13]

---

[13] Примечания: 13
Перевод В. Резника.

Дом. *Dulce Domum*, Дом Родной, как называет его Кеннет Грэм, Милый Дом. Прошло двенадцать недель со дня нападения, сделавшего для меня невозможным возвращение сюда. И вот теперь, когда за мной закрылась входная дверь, я превратился в робкого Крота, я узнавал запахи этого места, мое сердце замерло, когда я взглянул на фотографию, где мы с сестрами читаем “Питера Пэна”, что висит у меня над камином, я ощущал, как меня приветствуют мои книжные полки, как все знакомо на моем рабочем месте, а после — материнскую нежность моей собственной постели, что приняла меня в объятья, обхватила и окутала глубоким и безмятежным сном. Я немедленно почувствовал себя стопроцентно здоровым, мне стало в два раза лучше. Я был дома.

Мы начали предпринимать малюсенькие шажки в направлении обычной жизни. Провели несколько вечеров в гостях у друзей. Одним из первых стал вечер, проведенный у Альбы и Франческо Клементе, на котором Фрэн Лебовиц, не привыкшая ходить вокруг да около, устроила мне допрос.

— Вы же праворукий, все верно? — спросила она. — Так почему же тогда, чтобы защититься, вы использовали левую руку?

Я задумался над ее вопросом.

— Возможно, это как в боксе, — предположил я, — если ты праворукий боксер, то защищаешься левой рукой, а удары наносишь правой, ведь так?

Фрэн мой ответ не впечатлил.

— Салман, тут есть две вещи, — отреагировала она, — во-первых, вы не боксер. А во-вторых, вы не наносили ему ударов.

Это правда, Фрэн, согласился я. И с первым, и со вторым утверждением. Я не был тем, кто наносит удары. Я был тем, кому наносят удары.

Позднее Франческо рассказал мне, что Фрэн очень переживала за меня после нападения. “Я думаю о нем каждый день”, — признавалась она тогда. Это известие заставило меня улыбнуться.

— Хочу футболку с такой надписью, — ответил я, — Фрэн Лебовиц думает обо мне каждый день.

Было очень увлекательно делать что-то “нормальное” — например, наносить визиты друзьям. Но впечатления иногда захлестывали. Мы были в гостях у издателя “Гроув Атлэнтик” Моргана Энтрикина и его жены, фотографа Рэйчел Кобб, в их доме в Бруклине. Это был вечер, который невозможно забыть, поскольку вместе с нами за столом сидели Мартин Эмис и его супруга Иза-

бель Фонсека. На протяжении последних двух лет Мартин боролся с раком пищевода — тем же самым раком, что прежде убил его ближайшего друга, Кристофера Хитченса. Он прошел через химиотерапию, она сработала, наступила ремиссия, но потом опухоль появилась снова, он снова прошел химиотерапию, она не сработала, и тогда ему сделали операцию, которая, как ему сказали, прошла успешно. Когда мы увиделись с ним в гостях у Моргана и Рэйчел, он был болезненно худым, ему отказывал голос, однако его интеллект оставался незамутненным, и он был со мной очень внимателен и дружелюбен. Мы оба чуть не умерли, сказал он, так что мы братья по оружию, противостоящие смерти.

Вскоре после этого нас пригласили в квартиру Мартина и Изабель на самом верху бруклинской башни. Там были еще Джеймс Фентон и Дэррил Пинкни. Тогда я видел Мартина в последний раз. Вскоре после этого рак схватил его так, что вырваться было уже невозможно, и Мартина мы потеряли.

В тот второй вечер он казался еще более хрупким, еще более невесомым, его голос был еще менее слышным. Но тогда еще рак к нему не вернулся, или нам не сказали о том, что он вернулся.

Болезнь снова проявила себя несколько недель спустя, и Изабель сказала мне:

— Надежды на выздоровление нет.

Она рассказала, что Мартин оставался спокоен, встречая конец, повторял: “Я прожил очень хорошую жизнь”. Я слышал, что она убита горем. Они прожили вместе тридцать лет.

Много раз после нападения я думал о том, что Смерть охотится не за теми людьми. Разве не я был меченым, тем, кого Жнецу надлежит забрать, тем, про которого всем было понятно, что его шансы на выживание очень малы? И вот он я, стою на своих ногах, меня неплохо подлатали в соответствующих учреждениях, и я возвращаюсь к Жизни, в то время как вокруг меня многие мои ближайшие друзья отходят в мир иной. Билл Бьюфорд, бывший издатель журнала “Гранта”, бывший редактор отдела художественной прозы “Нью-Йоркера”, написавший книгу о британском футболе и хулиганах (“Английская болезнь”) и две книги о, соответственно, итальянской и французской кухне (“Жара”, “Грязь”), человек, который всю свою жизнь слишком обильно питался и имел давние проблемы с сердцем, потерял сознание на улице и в буквальном смысле стремительно умирал. Его спас прохожий — он

увидел, что тот упал, рванул домой и вернулся с дефибриллятором. Каковы были шансы, что это произойдет? И на следующий день после Рождества мой младший собрат по литературе Ханиф Курейши потерял сознание в Риме, а когда пришел в себя, обнаружил, что не может шевелить ни руками, ни ногами. Он пишет — или, говоря точнее, надиктовывает — потрясающе смелый, честный и смешной блог в приложении “Сабстэк” о своих мучительных тяготах, есть некоторые улучшения в том, что касается его общей подвижности, однако в настоящий момент неясно, когда (если это когда-либо случится) он снова сможет пользоваться правой рукой, рукой, которой он пишет. А через четыре дня после того, как я узнал о Ханифе, выяснилось, что у Пола Остера рак легких. Пол и его жена Сири Хустведт приняли участие в мероприятии, организованном в мою поддержку на ступеньках библиотеки, а теперь противостояли своему собственному кризису. Есть шанс, что Пол сможет победить рак, так он сообщил мне по телефону. Единственная опухоль, в одном легком, без метастазов — ни в лимфоузлах, ни где-либо еще, и он надеется, что химиотерапия и иммунотерапия смогут значительно уменьшить опухоль, после чего за-

раженная часть его легких сможет быть удалена хирургическим путем. Так что — держим за него скрещенные пальцы.

А Мартин умирал. Он не хочет видеть друзей, сообщила Изабель. Один раз его навестил Джеймс Фентон, но на этом все. Они с Изабель переехали в свой дом на Палм-Бич, где тепло, где он может сидеть в саду и читать. Он сказал, что пишет рассказ. Он может закончить его, а может не успеть. К нему приехали его дети. Он почти не ест. Ангел очень близко.

Изабель рассказала, что из-за опухоли ему трудно говорить по телефону, но он с удовольствием читает электронную почту, и я написал ему. “Посылаю, — написал я, — тебе дружескую волну”. Мартин никогда не был любителем рассылать электронные письма, так что я удивился, когда получил пространный ответ. Он был настолько хвалебным, что я не стану воспроизводить его здесь целиком, но вот что он сказал:

> Когда мы не так давно впервые после того ужасного злодеяния встретились с тобой, я, должен признаться, ожидал, что ты будешь другим, в некотором роде ослабевшим. Ничего подобного: ты был и

остался самим собою и совершенно цельным. Тогда я с восхищением подумал: ему это по силам.

Может, это и не так, но написано тепло. Я написал в ответ гораздо более длинное письмо. Я привожу его здесь целиком, поскольку — мне казалось это тогда и кажется до сих пор — это было мое прощание.

Мой дорогой Мартин!

В ответ на твое пространное письмо я попытаюсь сделать то же и также превышу разрешенный в Твиттере объем сообщения.

Прежде всего должен сказать, как тронули меня твои слова, их щедрость и доброта. Ни один писатель не мог бы и мечтать о лучшем словесном объятии.

Во-вторых, я хочу сказать о твоем творчестве – его характеризуют как мастерство, так и бесстрашие, – и говоря о мастерстве, я имею в виду не только мастерское владение словом, хотя ты, несомненно, всегда им обладал, но и изобретательность на уровне формы, фейер-

верк комического и твой интеллект, а под словом “бесстрашие” объединяю твою волю (увы, она тебе необходима) иметь дело исключительно с самым важным материалом своего времени, будь то политическая, нравственная, сексуальная или любая другая сфера.

Твои произведения изменили и зарядили энергией литературу на английском языке, они будут служить источником вдохновения и для тех, кто придет после нас. Ты подхватил эстафетную палочку, которую передали тебе Беллоу, Набоков и твой отец, и передашь ее… я не знаю, кому… кому-то, кому достанет таланта и мудрости подхватить ее и продолжить бежать с ней дальше.

Так что – браво, браво, дорогой друг.

То, что ты сделал, будет жить очень долго.

С восхищением и любовью,
Салман

В те наполненные печалью последние дни я часто ловил себя на том, что вспоминаю времена, когда — это было более тридцати лет тому на-

зад — Мартин организовывал покерные вечера. Главной особенностью этих вечеринок было то, что там никто не мог ничего узнать о жизни других игроков. Если беседа начинала уходить в личное либо политическое русло, кто-нибудь тут же громко провозглашал: “Играйте в покер!”, тем самым, как и следует, возвращая наше внимание к важным вещам.

Я вспоминал также, что еще до того, как я перебрался в Нью-Йорк, до того, как Иэн Макьюэн и его жена Анна-Лена Макэфи купили особняк в Котсуолдсе, а Мартин и Изабель оказались в Бруклине, мы втроем — Мартин, Иэн и я — изредка ужинали вместе, обычно в ресторанчике “Летуаль” на Шарлотт-стрит в Лондоне, чтобы привести мир в порядок. Как-то в воскресной газете опубликовали монтаж из фотографий нас троих под заголовком “Крестные отцы”, и мы сошлись на том, что, будучи главами криминальных семейств литературного Лондона, должны встречаться регулярно, дабы быть уверенными, что все идет хорошо и не возникло никаких ненужных войн и перестрелок.

Банальности прошлого — вот что человек оплакивает так же сильно, как и гораздо более важные вещи (вроде литературного таланта),

когда он прощается с другом.

Одна из причин, почему фильм Альфреда Хичкока “Психо” такой страшный, состоит в том, что в нем умирают не те люди. Самая главная звезда фильма, Джанет Ли, умирает уже где-то через полчаса после начала. Надежный, добродушный, готовый все взять на себя детектив Мартин Болсам едва появляется на экране, и мы тут же узнаем, что он также мертв. Это пугает. Именно так я и начал себя ощущать. Смерть заявлялась по неправильным адресам.

Все мы стареем. *Это уже не будет случаться реже, верно?* Анжела Картер, Брюс Чатвин, Реймонд Карвер, Кристофер Хитченс — все они, по-моему, ушли слишком рано. И вот уже настал черед уйти всему поколению.

Мартин скончался во сне, мирно и не испытывая боли, ночью 19 марта 2023 года.

В резиденции четы Рушди — Гриффитс, несмотря ни на что, начиная с декабря барометр настроения неуклонно тянулся к отметке “ясно”. По телевизору показывали чемпионат мира по футболу, и я смотрел почти каждую игру. Аргентина, за которую играет Лионель Месси, стала чемпионом мира, что меня порадовало. Чем бли-

же к дому, тем лучше были новости. (Речь не об общих новостях, которые, как обычно, изобиловали дикими перестрелками и насилием, а также Трампом и его трампубликанцами.) Для Элизиного “Обещания” нашелся хороший британский издатель, его собирались опубликовать в начале июля, почти одновременно с выходом американского издания. Что касается меня, я с каждым днем чувствовал себя все сильнее. Позднее, 2 и 5 декабря, я прошел два последних медицинских испытания, и оба завершились успешно. Я получил абсолютно чистое рентгеновское исследование легких. Белковая диета сработала! Жидкость больше не возвращалась! *Проверено*. А спустя три дня магнитно-резонансная томография показала, что моя предстательная железа совершенно чиста! Мне не нужно бояться ни биопсии, ни рака (я так и не понял, что из этого пугало меня сильнее). *Окончательно проверено*. У меня не осталось медицинских проблем, требующих решения. Я выбрался из череды хождений по врачам и вернулся в ряды обычных граждан.

6 декабря Элиза праздновала свой день рождения. Пришли Суфала и Киран Десаи. Мы заказали еду из ближайшего ресторанчика. Нам было что отпраздновать.

К примеру: мне больше не нужно было переживать из-за своего лишнего веса. Как мне сообщила вопящая кровать в Раске (а она могла еще и взвешивать меня), я потерял порядка 25 килограммов. Я прожил несколько месяцев сначала в больничных пижамах, а затем в тренировочных штанах и футболках, и вот теперь, получив возможность примерить дома собственную одежду, обнаружил, что все брюки, что у меня есть, в буквальном смысле с меня сваливаются. Я радовался потере веса (хотя был полностью согласен со всеми, что подобный план диеты не стоит рекомендовать) и приятно удивился некоторым побочным эффектам (моя астма в значительной степени уменьшилась, и я больше не храпел, что было облегчением для той, с кем я делю постель), однако ситуация, сложившаяся у меня с одеждой, была проблемой, даже при том, что качество проблем улучшалось. Спадающие штаны — это смешно. Нападения с ножом — нет.

Я впадал в некое подобие эйфории, заявлял, что чувствую себя хорошо, что все наши проблемы позади и что наше счастливое будущее должно начаться прямо сейчас. Одна из главных причин такой чрезмерной уверенности состояла в том, что я мог снова сидеть за своим столом и чувство-

вать, как во мне играет кровь. Три месяца я даже не мог думать о том, чтобы писать. Когда же я наконец взялся за перо и просмотрел пометки, начатые для романа, который, возможно, последует за "Городом Победы", то ощутил, что они абсурдны. *Этого я написать не смогу*, сказал я себе. Как сильно бы я ни хотел сосредоточиться на вымысле, вылезало нечто безмерное и невымышленное, то, что произошло со мной, и я понял, что Эндрю Уайли был прав. Пока я не покончу с нападением, не смогу писать ни о чем другом. Я понял, что мне придется написать книгу, которую вы сейчас читаете, и только после этого я смогу переключиться на что-нибудь другое. Написать об этом — это будет мой способ принять то, что случилось, взять на себя ответственность за это, сделать своим, отказаться далее исполнять роль жертвы. Я должен ответить насилию искусством.

Мне не нравится думать о создании книг как о лечении: создание книг — это создание книг, а лечение — это лечение, однако шанс, что если я расскажу эту историю так, как вижу ее я, то стану чувствовать себя гораздо лучше, был велик.

Существовали и долгосрочные связанные со здоровьем проблемы, решение которых требо-

вало первоочередного внимания. Сил у меня было немного. Уже к началу вечера я обычно чувствовал, что день для меня завершен. У меня по-прежнему периодически мутнело сознание, и это внушало беспокойство. Проблемы с давлением также не ушли, хотя странным образом изменились в противоположную сторону. Когда я лежал в больницах, моей проблемой было слишком низкое давление, которое еще сильнее падало, когда я вставал, отсюда возникла необходимость носить корсет. Однако теперь, когда я измерял давление, оно оказывалось пугающе высоким. Я отказался от ношения корсета — давление оставалось высоким и даже начало достигать опасных отметок. Уровень систолического давления указывал на то, что со мной может случиться удар.

И вот — момент озарения. Я не помню, кого, меня или Элизу, это озарение посетило, но подозреваю, что ее. Мы поняли, что один из лекарственных препаратов, что мне прописали в Раске, должен был вызывать повышение кровяного давления. Я продолжал принимать его, поскольку на момент выписки мне никто не сказал, когда мне перестать это делать. Я позвонил своему семейному врачу.

— Немедленно прекратите его принимать, — велел тот.

Я прекратил; и уже через неделю или около того как систолические, так и диастолические показатели давления вернулись в пределы нормы.

Новый случай ятрогенного расстройства. Еще один раз лекарство заставило меня болеть.

Элиза много работала за компьютером, она загружала весь материал, что мы сняли, приводила его в систему и отбирала наиболее показательные видеосюжеты. В конце концов она поинтересовалась у меня, готов ли я посмотреть это.

— Да, — ответил я.

Она установила проектор и экран в гостиной. Она предупредила меня, что то, что я увижу, может меня расстроить. Ей тоже было трудно снова смотреть эти отснятые материалы.

— Глаз, шея, — предостерегала она меня, — это настоящий хардкор.

Так оно и было. Я даже не представлял себе, что выглядел так ужасно и что мой голос был таким слабым. Как, наверное, страшно должно было Элизе, Самин и Зафару видеть меня таким и как невыносимо сложно изо дня в день повторять мне свою исполненную оптимизма ложь: “Ты отлично держишься”, “Сегодня гораздо лучше,

чем вчера” и так далее и тому подобное. Я держался вовсе не отлично. И с каждым днем мне очевидно не становилось лучше, чем было вчера. Я находился на самой грани смерти, но каким-то образом сумел остаться в живых. И это все, на что могли полагаться те, кто меня любит, — я остался в живых, и — раз меня сняли с аппарата искусственной вентиляции легких — есть вероятность, что останусь жить и дальше, — вот этого хватало им, чтобы находить в себе силы продолжать улыбаться своими *любящими лживыми* улыбками. Если бы я знал, как я ужасно выгляжу, какими тяжелыми были мои травмы, мне, возможно, было бы сложнее собраться с силами, чтобы двигаться дальше.

Картинки сменяли друг друга. Мой выпученный глаз вареным яйцом свисал с лица, радужная оболочка неправдоподобно выпирала над белком под каким-то немыслимым углом. Длинный горизонтальный порез на моей потемневшей, заплывшей от отека шее, колотые раны по соседству, порезы на лице. Это было слишком. Мозг отказывался понимать такое, но вот — все это было здесь на экране и настаивало оттуда на своем существовании.

Я понял, что неожиданным образом реагирую

на то, что вижу. Да, это повергало в шок, однако я, отсматривая материал, оставался достаточно спокойным и оказался способен быть бесстрастным. Я сказал Элизе:

— Думаю, это потому, что сейчас я выгляжу иначе, не как тогда, и потому могу быть достаточно объективным. Честно говоря, теперь мое выздоровление кажется еще удивительнее, ведь мне было по-настоящему плохо, и выглядел я хреново. Я был сам на себя не похож.

В тот день мы договорились, что сделаем документальный фильм. Теперь, когда я увидел, что уже сделано, я не сомневался ни в его качестве, ни в силе эмоционального воздействия. Сначала — наверное, это было наивно, — мы полагали, что сможем справиться сами, прибегнув к помощи профессионального консультанта и режиссера-монтажера. Однако довольно скоро мы осознали реальность. Мы находились слишком глубоко внутри этой истории, и при том, что подготовленное нами было уникальным, отснятым постоянно стоявшей в палате камерой материалом, нам нужен был профессионал из мира кино, который смог бы добавить свое видение, понять, чего нам не хватает и как все это собрать воедино. Так что нам надо найти такого человека. И отснятый

Элизой материал станет тем позвоночником — а может быть, сердцем, — вокруг которого вырастет этот фильм.

Элиза снимала меня дома, мы обсуждали мою реакцию после просмотра ее материалов о моих самых трудных днях и медленном выздоровлении.

— Я был похож на кого-то другого, — сказал я ей. — Надо начинать с этого.

> Самая неприятная вещь, связанная с нападением, – это то, что оно снова превратило меня в человека, которым я очень сильно старался не быть. На протяжении тридцати с лишним лет я отказывался, чтобы на меня смотрели сквозь призму фетвы, и настаивал, чтобы на меня смотрели как на автора книг, которые я написал – пять до объявления фетвы и шестнадцать после. Мне это почти удалось. Когда в свет вышли несколько последних книг, люди в конце концов перестали задавать мне вопросы о нападениях, “Сатанинских стихах” и их авторе. И вот я снова здесь, меня заставили вернуться к этому неприят-

ному вопросу. Думаю, что теперь уже никогда больше не смогу уйти от него. Независимо от того, что я уже написал и что, возможно, напишу теперь, я навсегда останусь тем, которого порезали ножом. Теперь меня определяет нож. Я буду бороться с этим, но подозреваю, что проиграю эту битву.

То, что я остался в живых, было моей победой. Однако смысл, который нож придал моей жизни, был моим поражением. В “Городе Победы” главная героиня Пампа Кампана создает на санскрите внушительную эпическую поэму под названием “Джаяпараджая”, что означает “Победа и Поражение”. Такое название подошло бы и для моей жизни.

Внезапно наступил новый 2023 год. Вот-вот должен был начаться февраль, который много что значил во многих областях. В феврале “Город Победы” выйдет на английском по всему миру, и вскоре за ним последуют многочисленные переводы. Я едва ли получаю удовольствие, когда моя книга оказывается опубликованной. Для меня это все равно что раздеться на публике, дать людям повод тыкать в тебя пальцами и смеяться.

Живи мы в идеальном мире, я бы предпочел, когда моя книга выходит в свет, несколько недель прятаться в шкафу. Однако в реальном мире это невозможно. Да я и так уже просидел в шкафу полгода. Этот февраль — подходящее время, чтобы показать себя миру.

Я дал большое интервью Дэвиду Ремнику из “Нью-Йоркера”, и это был единственный вклад, который я сделал в продвижение этого романа, поскольку вопрос с авторским туром не стоял. Ремник взял интервью, а Ричард Бербридж сделал фото. Когда интервью и фото опубликовали, было похоже, что я вернулся обратно в мир после полугода, проведенного в темнице чистилища. Вот как много значил для меня февраль. А еще 14 февраля было тридцать четвертой годовщиной объявления фетвы. В какой-то момент я перестал замечать годовщины фетвы, но теперь мне пришлось начать этот отсчет снова.

Однако 14 февраля было еще и Днем святого Валентина, и мы с Элизой решили отметить его, впервые за шесть месяцев отправившись в ресторан. Мы пошли туда с охраной, но все-таки пошли. Мы ощущали, что это чрезвычайно важный момент. Привет, мир, говорили мы. Мы вернулись, и теперь, после схватки с ненавистью,

празднуем нашу сохранившуюся любовь. На смену ангелу смерти пришел ангел жизни.

6. А.

14 октября 1994 года, за шесть лет до того, как ему присудили Нобелевскую премию, восьмидесятидвухлетний египетский писатель Нагиб Махфуз вышел из дома, чтобы отправиться в свое любимое каирское кафе, где каждую неделю собирались его товарищи, писатели и мыслители. Когда он шел, его начала преследовать машина. Позднее он рассказывал, что подумал, что это может быть его поклонник. Но это не был поклонник. Это был человек, который выскочил из машины и несколько раз ударил Махфуза ножом в шею. Махфуз рухнул на землю, а нападавший скрылся. К счастью, великий писатель выжил, однако это нападение стало примером “культурного терроризма”, в котором он еще раньше обвинял египетских исламских террористов.

Угроза нападения висела над головой Махфуза несколько лет. Его произведение “Дети нашей улицы” (также известное под названием “Дети Гебелави”), роман-аллегория, действие которого разворачивается на бедной каирской улочке и описывает рождение трех великих монотеистических религий — иудаизма, христианства и

ислама, попало под запрет как “оскорбляющее ислам”. По меньшей мере один радикально настроенный фанатик-мулла провозгласил, что Махфуз заслуживает смерти. Когда появился список приговоренных мусульманами к смерти, он был упомянут одним из первых. При этом он “не верил в телохранителей”, как призналась “Нью-Йорк таймс” его дочь. В 1988 году, когда он получил Нобелевскую премию, по миру разошлась его цитата: “Когда я иду в кофейню, я не смотрю ни влево, ни вправо. Что до того, что они могут достать меня? Я прожил свою жизнь, и я занимался тем, что хотел”.

Он выжил и прожил еще двенадцать лет, находясь под постоянной охраной телохранителей, от которой отказывался раньше. Травмы, которые он получил, привели к тому, что он мог писать всего несколько минут в день.

Я читал, что фетва, провозглашенная в связи с “Сатанинским стихами”, которую он осудил, послужила спусковым механизмом для нападения на него. Вот что он писал в мою защиту в книге “За Рушди”, в которой писатели и интеллектуалы из числа мусульман выразили свою поддержку моей позиции: “Подлинный терроризм, сделавший его своей мишенью, невозможно ни оправдывать,

ни защищать. Какой-либо идее может быть противопоставлена только другая идея. И даже если наказание будет осуществлено, его идея, как и его книга, продолжит свою существование". Я до сих пор горюю из-за того, что эти слова, возможно, вонзили нож в его шею задолго до того, как другой подобный нож пронзил мою. Но Махфуз был прав. Его идеи, его книги продолжают жить.

Я могу лишь надеяться, что и мои продолжат жить.

Я часто размышлял о том, что произошло с Махфузом, но не верил, что нечто подобное может произойти и со мной. Я пытался вообразить, что должно быть в голове у вознамерившегося вонзить нож в шею пожилому человеку, прославленному пожилому человеку, чьи произведения любимы многими. Я не хочу возвышать себя и ставить на одну ступеньку с Нагибом Махфузом, но я должен понять, что было в голове у человека, вознамерившегося убить меня. Для этого в настоящей главе я привожу запись беседы, которой на самом деле никогда не было, беседы между мной и человеком, с которым я был знаком всего двадцать семь секунд. На фотографиях он в черно-белой тюремной робе, руки в наручниках. Этот молодой человек выглядит серьезным, однако

стоит отметить, большинство людей будут выглядеть серьезными на фотографиях, сделанных сразу после ареста. Возможно, в обычной жизни он компанейский парень и часто шутит. Но в своем воображении я представляю его одиноким человеком, проводящим большую часть времени наедине с самим собой. У него оттопыренные уши. Лицо узкое, а волосы и борода аккуратно подстрижены. Он немного похож на теннисиста Новака Джоковича. Выросший в Нью-Джерси, он, возможно, говорит с сильным акцентом парня из Джерси, однако я не стану пытаться воспроизвести здесь особенности его речи. В выдуманных сценах, которые будут представлены далее, я приехал в окружную тюрьму Чатокуа и сижу на железном стуле за железным столом, стул и стол привинчены к полу, как привинчен к полу и тот стул, на котором в наручниках сидит он. Он не очень-то хочет беседовать со мной, но поскольку живет лишь в моем воображении, вынужден это делать. Он мрачен. Он не склонен к разговорам. Стоит ли неосмысленная жизнь того, чтобы быть прожитой, — вот что я спрошу у него.

За нами наблюдают полицейские, а может быть, через зеркало Гезелла, и агенты специальных служб. Эта сцена напоминает то, как

показывают допросы в телесериале “Закон и порядок”. (Для справки: в моем доме просто обожают “Закон и порядок”, так что я прекрасно знаком с основами работы американских правоохранительных органов, как их изображают в сериалах. Реальность — совершенно другое, это очевидно. Воображаемая локация, в которой мы находимся, — неподходящее место для обсуждения подобных вещей.)

Как же мне обратиться к нему, властелину ножа? В своем сознании я хожу кругами, пытаюсь подступиться к нему, думаю, по какому пути может пойти наш разговор. Следует ли мне рассказать ему о Яго, разрушившем собственную жизнь вместе с жизнями Отелло и Дездемоны лишь потому, что его обошли по службе? Я хочу выяснить у А., что он чувствует по отношению к собственной загубленной жизни, однако не думаю, что Шекспир будет самым удачным началом разговора на эту тему. Я также размышляю о более загадочных эпизодах в литературе. О сцене в *“Les Caves du Vatican”*, “Подземельях Ватикана”, Андре Жида, где персонаж по имени Лафкадио выкидывает человека, с которым только что познакомился, из движущегося поезда, убивает его без всякой на то причины. Или об эпизоде у Фри-

дриха Дюрренматта, когда в романе “Правосудие” герой совершает убийство на глазах у множества свидетелей, после чего настаивает на своей невиновности, желая ответить на вопрос, “как бы выглядела действительность, будь убийцей не я, а кто-нибудь другой”[14]. Я довольно быстро отбросил эти мысли, хотя в них и было разумное зерно. Мы не станем беседовать о литературе.

Я не хочу быть излишне дружелюбным. Я не испытываю дружелюбия. Но не хочу быть и слишком недружелюбным тоже. Я хочу сделать так, чтобы он открылся, если у меня это получится. Поскольку наша реальная встреча маловероятна — и становится невозможной, — я должен представить, что сумел попасть к нему в голову. Я должен попытаться сотворить его, сделать реальным. Не знаю, получится ли.

Какая-то часть меня хочет подбежать к нему и с силой ударить кулаком в шею.

Он не выразил не малейшего раскаяния. Мне не нужны извинения. Я хочу узнать, что он чувствует теперь, когда у него было время все обдумать. Думает ли он теперь иначе? Или он гордится собой? Сделал бы он это снова? Одна организация

---

[14] Примечания: 14
Перевод С. Фридлянд.

в Иране присудила ему награду. Надеется ли он отбыть заключение, а потом поехать в Иран и получить ее? Из его социальных сетей ясно, что он испытывает преклонение перед несколькими исламскими радикалами. Кто он в своих собственных глазах — герой или просто молодой человек из Нью-Джерси, который сделал то, что, как он считал, должен был сделать?

Считает ли он себя американцем?

Я прочищаю горло и приступаю.

Беседа первая

Мы можем начать со слова “неискренний”?

Почему?

Ты так описал меня в интервью “Нью-Йорк пост”. Ты сказал, что считаешь меня неискренним человеком.

Окей. И что? Вы неискренний.

Ты смотрел фильм “Принцесса-невеста”?

Нет. Да. Не знаю. Какая разница? Почему вы спрашиваете меня о кино?

Там есть один герой, Вицини, которому очень нравится слово “непостижимый”. Он произносит

его несколько раз на протяжении фильма. В конце концов другой герой, Иниго Монтойя, говорит ему: “Ты постоянно используешь это слово. Но по-моему, оно означает не то, что ты думаешь”. Так вот, значит: могу ли я спросить тебя о слове “неискренний”?

Я понял. Вы решили продемонстрировать мне свое превосходство.

Я прошу тебя объяснить, как ты понимаешь это слово.

Это значит, что вы прикидываетесь, что говорите правду, хотя на самом деле врете.

Да, именно так.

Ну так и отвалите, господин остряк-самоучка.

У меня есть еще вопрос. Давай предположим, что ты прав. Давай предположим, что я действительно притворяюсь, что говорю правду, а сам обманываю людей.

Именно этим вы и занимаетесь. Все об этом знают.

И этого, по-твоему, достаточно, чтобы убить человека? Как много людей ты встречал в своей

жизни, которые были, по твоему мнению, неискренними?

В Америке многие прикидываются честными, но на самом деле носят маски и лгут.

И это причина, по которой их всех можно убить?

Молчание.

Ты когда-нибудь думал о том, чтобы убить кого-то другого?

Нет.

И это при том, что ты считаешь, что в Америке много неискренних людей. Ты уверен, что никогда прежде не думал кого-то убить?

С чего бы мне вам об этом рассказывать?

Например, собственную мать. Ты говорил, что твоя мать не научила тебя как должно тому, что такое религия. Теперь она от тебя отреклась. Разве твоя мама не неискренняя? Она прикидывалась честной, а на самом деле скрывала правду?

Молчание.

Ладно. Давай оставим “неискреннего” и рас-

смотрим другое слово — “все”.

Какая глупость. Это обыкновенное слово.

Верно. Это обыкновенное слово, которое ты использовал, когда делал допущения обо мне. Ты сказал, что я нечестен и “все об этом знают”.

Подтверждаю. Все об этом знают.

Ты можешь сказать мне, кто они, эти “все”?

Вы задаете вопросы, на которые знаете ответы.

Прошу меня за это простить.

“Все” означает “все хорошие люди”. Люди, которые распознают дьявола, когда он приходит, чтобы обмануть их. Люди, которые отличают хорошее от плохого.

То есть ты считаешь, что я не просто неискренен, я еще и дьявол. Именно поэтому убить меня — значит совершить хорошее?

Вы всего лишь мелкий бес, не льстите себе. Но даже мелкий бес все равно есть дьявол.

А дьяволов следует уничтожать?

Да.

Ты считаешь так уже долгое время? Или это новые для тебя мысли?

Мы жили неправильно в своем доме. Моя мать, мои сестры. И я. Я ничего не понимал. Я пребывал в спячке. Теперь я пробудился.

Что тебя пробудило?

Всевышний пробудил меня.

Как же Он это сделал? К тебе пришло откровение?

Я не пророк. Время пророков осталось в прошлом. Откровения Всевышнего, адресованные Человеку, исчерпаны. Мне не являлся ангел, я учился. Получал знания.

Из книг? От людей?

От имама Ютуби.

Кто это?

Его можно найти на Ютуб-каналах. У него много лиц и много голосов. Но все они говорят правду.

Скажи мне эту правду.

Правда в том, что у правды много врагов. Тем, кому она известна, известна также цена правды,

так что очень многие хотят ее обесценить. Много людей старается преследовать тех, кто знает правду. Так что правду необходимо защищать.

Любыми возможными способами?

Да. Так учил нас эль-Хадж Малик эш-Шабазз.

Малкольм Икс. Ты его последователь?

Я последователь Всевышнего.

А тебе известно, что Малкольм заимствовал эту фразу у Франца Фанона?

Не знаю я никакого Фанона.

Был такой чернокожий мыслитель на Мартинике. Он потом в Алжир переехал.

Плевать на него.

Знаешь ли, я ведь тоже изучал основы твоей веры. В университете в Британии.

Вы так ничему и не научились.

Почему ты так говоришь?

Ваши учителя, придерживались ли они веры? Это были имамы, обученные согласно закону?

Один был марксистом из Франции, другой,

англичанин, не был религиозен.

Вот видите? Они ничему не могли научить вас, так что вы так ничему и не научились.

Мы можем сменить тему? Давай поговорим о твоем членстве в спортивном клубе.

У вас дурное сознание. Ум словно бабочка. Вы не способны сосредоточиться на вещах, которые важны по-настоящему. Это американское сознание.

Но я родом из Индии. Из секулярной семьи индийских мусульман. У меня было индийское сознание, потом британское сознание, а теперь, наверное, ты прав, еще и американское сознание.

“Секулярный” — синоним к слову “лживый”. Это болезнь.

А ты в этом уверен? Потому что, к примеру, моя мама была очень правдивым человеком.

Ей наверняка было стыдно иметь такого сына, как вы. У вас мусульманское имя. Почему вы продолжаете носить это имя? Носить его значит лгать. Вашей матери должно было быть стыдно за то, что она выносила вас в своей утробе. Вашей

семье должно быть стыдно признаваться, что в ваших жилах течет их кровь.

Когда моя мама умерла в Пакистане, одна газета написала, что людям, пришедшим на ее похороны, должно быть стыдно.

Вот видите. А я о чем говорил?

Так мы можем вернуться к членству в спортивном клубе?

Почему вас так заботит этот вопрос?

Это же был боксерский фитнес-клуб штата, верно? В Северном Бергене, штат Нью-Джерси? Ты подписался на премиум-членство и взял двадцать семь занятий по боксу. Снова число двадцать семь. Двадцать семь занятий, двадцатисемисекундное нападение. Было бы еще лучше, если бы тебе было двадцать семь лет. Как бы то ни было. Ты же спокойный человек. Ты ни с кем особо не разговаривал в спортзале. Твоя мама рассказывала, что ты был тихим мальчиком. Однако ты подал голос в ночь перед тем, как сесть в автобус в Чатокуа. Ты написал по электронной почте в спортзал и аннулировал свое членство.

И что с того?

Вот о чем я хочу тебя спросить: ты точно знал, что уже больше не вернешься к своей прежней жизни? Никаких больше занятий по боксу в твоем спортивном клубе, никаких больше видео с имамом Ютуби. Ты вел ночную жизнь, так рассказала твоя мама, сидел взаперти у себя в подвале и сам готовил для себя еду. Но когда ты аннулировал членство в спортклубе, ты точно знал, что той жизни пришел конец. Ты решил разрушить свою собственную жизнь вместе с моей. Возможно, ты предполагал, что окажешься взаперти, и уже не по своей воле. И не в своем подвале. В кое-каком другом месте.

Ну да, точно.

Или ты рассчитывал, что сможешь скрыться и податься в бега? На тебя объявят охоту, но ты всех обхитришь и скроешься по ту сторону канадской границы, она ведь не так далеко от Чатокуа? При тебе было фальшивое удостоверение личности, не было банковских карт, но была вполне внушительная сумма наличными. Ты что, представлял себе, что найдешь лодку и переправишься на ту сторону озера Эри, там же проходит жидкая граница, просто воображаемая линия, делящая озеро на две части? Где ты собирался начать свою

новую жизнь, в… эээ … в Ванкувере?

Я не знал, что будет потом.

Но ты знал, что домой больше не вернешься. Сказал “прощай” всему, что там осталось. Ты когда-то думал закончить колледж со всеми вытекающими. Больше ничего подобного.

Думаю, да.

Я пытаюсь понять тебя. Тебе двадцать четыре года. Вся жизнь впереди. Почему же ты с такой готовностью стремился ее разрушить? Разрушить *свою* жизнь. Не мою. Свою.

Не пытайтесь меня понять. Вы не способны понять меня.

Но я вынужден пытаться это сделать, ведь на протяжении двадцать семи секунд мы были невероятно близки, до интимности. На тебе был плащ самой Смерти, а я был сама Жизнь. Это глубинная связь.

Я был готов совершить это, поскольку что я служил Всевышнему.

Ты уверен в этом. Это именно то, что твой Бог хотел, чтобы ты сделал.

Имам Ютуби говорит очень ясно. Те, кто пошел против Всевышнего, не имеют права на жизнь. У нас есть право покончить с ними.

Большая часть людей на Земле не почитают твоего Бога. Если они верят в другого бога — или богов, — обладаешь ли ты правом покончить и с ними? Два миллиарда человек почитают твоего Бога. Шесть миллиардов — других богов. Что ты думаешь об этих людях?

Я думаю о них по-разному.

От чего это зависит?

От того, как они себя ведут.

И неискреннее поведение должно караться смертью.

Можно и так сказать, да.

Позволь мне спросить у тебя кое-что о твоей вере. Ты считаешь, что все, что исходит от Бога, свято? Или, можно сказать, является священным?

Да. Конечно. Слово Всевышнего священно, как и дела Его.

Дарование жизни — тоже деяние Господа, ты

согласен?

Да.

Так как же может считаться для человека правильным забрать то, что было даровано Богом? Неужели это не Богу решать?

Вы пытаетесь запутать меня. Я это понял. Вы прибегаете к уловкам, так делает дьявол. Вы даже не верите в Бога. Атеист стоит ниже всех падших. Вы даже недостойны того, чтобы говорить со мной. Вы мне не ровня.

Я хочу понять тебя. В этом вся сложность. Причины, которые ты называешь, оказываются недостаточными для того, чтобы сподвигнуть молодого человека — молодого человека, который никогда прежде не проявлял склонности к насилию, молодого человека, который даже не достиг хоть каких-то успехов в боксе, просто на любительском уровне, — сподвигнуть этого человека на то, чтобы пожертвовать остаток своей жизни ради убийства незнакомца. Решение убить — сделаться *убийцей* — непростое решение. И все же ты принял его и двигался к этому серьезно, аккуратно, с целеустремленностью. Ты разработал подробный план. Но ты же никогда

раньше не совершал ничего подобного. Что же заставило тебя измениться?

Если вы верите в существование рая, вы поймете.

Расскажи мне.

Вы поймете, что эта жизнь, здесь, в этом мире, не имеет важности. Это всего лишь зал ожидания, и лучшее, что мы можем сделать, когда находимся в нем, — следовать за Всевышним, а после этой жизни у нас наступит другая жизнь, вечная. Так какое имеет значение, где я проведу эти годы? Когда вы будете гореть в адском пламени, я буду в благоухающих садах. И у меня будут спутницы из числа духов, прекрасные гурии, которых не касалась рука ни человека, ни джинна. Ведь сказано: “Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложным?”[15].

Где сказано?

В Книге.

Я бы хотел поговорить о книгах.

Существует только одна книга, о которой стоит

---

[15] Примечания: 15
Коран, сура 55 “Ар-Рахман”, перевод И. Крачковского.

говорить.

Позволь мне рассказать тебе о книге про книгу. Ее написал турецкий писатель Памук, и она называется “Новая жизнь”. В этой книге говорится о книге — у нее нет названия, и мы ничего не знаем о том, что написано на ее страницах. Но у каждого, кто открывает эту книгу, жизнь кардинально меняется. После того как люди прочли эту книгу, они становятся другими, не такими, что были прежде. Известна ли тебе похожая книга?

Конечно. Это книга, где содержится Слово Всевышнего — то, что Архангел передал Пророку.

И Пророк записал это Слово сразу же, как получил?

Он спустился с горы и стал говорить, и все, кто оказался рядом, записали его на всем, что попалось под руку.

И он передал их с полной точностью. То, что сказал Архангел, слово в слово. И потом эти люди записали это тоже с полнейшей точностью. Слово в слово.

Это очевидно.

И что случилось с этими записями?

После того как жизнь Пророка закончилась, его Последователи сложили их по порядку, и получилась Книга.

Они сложили их по порядку с полнейшей точностью.

Каждому обладающему истинной верой известно об этом. Только безбожник может задавать такие вопросы, а на безбожников не стоит обращать внимания.

Могу я задать тебе вопрос о природе Бога?

Он всеобъемлющ. Всеведущ. Он есть Все.

Это так в твоей традиции, однако существует разница между твоим Богом и Богами других Людей Писания, иудеев и христиан. Они верят — так написано в их книгах, — что Бог сотворил Человека по Своему образу и подобию.

Они заблуждаются.

Заблуждаются, поскольку, если бы они были правы, тогда Бог должен был бы иметь определенное сходство с Человеком? Он мог бы выглядеть как Человек? У него мог бы быть рот, мог бы быть голос, и он бы мог использовать его, чтобы говорить с нами?

Но это же неправильно.

Поскольку в твоей традиции представление о Боге таково, что Он настолько во всем превосходит Человека, так сильно возносится над ним, что Он не может разделять с Человеком никаких характеристик.

Именно так. В первый раз вы не несете галимую чушь.

Что бы ты назвал человеческими характеристиками?

Наши тела. Как мы выглядим и кем являемся.

Любовь — это человеческое качество? А стремление к справедливости? А милость? Разве у Бога этого нету?

Я не ученый. Имам Ютуби ученый. У него много лиц и много голосов. Я следую за ним. Я научился всему у него.

Я не собирался брать у тебя научную консультацию. Ты согласился, что у Бога нет человеческих качеств, это признано твоей собственной традицией. Позволь мне только спросить об одном. Язык, на котором мы говорим, — это человеческая характеристика? Чтобы пользоваться языком, у

Бога должны быть губы, должен быть язык, голосовые связки, голос. Так что он должен выглядеть как человек. *По Своему образу и подобию*. Но ты уже согласился с тем, что Бог не такой.

И что с того?

А то, что если Бог стоит выше языка — а Он стоит выше него, поскольку стоит выше всего просто человеческого, — откуда тогда взялись слова в твоей Книге?

Ангел сумел понять Всевышнего и передал Послание таким образом, чтобы Посланник смог его понять, и Посланник получил его.

Послание было передано на арабском?

На арабском его получил Посланник и так же его записали Последователи.

Могу я спросить у тебя что-то о переводах?

Вы постоянно так делаете, это уже слишком. Сначала едете в одном направлении, потом резко разворачиваетесь и шпарите в противоположном. Вы не просто бабочка, вы к тому еще и плохой водитель.

Я всего лишь хотел сказать, что, когда Архангел

сумел понять Всевышнего и передал Послание таким образом, чтобы Посланник смог его понять, он перевел его. Бог общался с ним неким Божественным образом, таким, который находится настолько выше человеческого понимания, что мы не способны понять его, а Ангел, когда делал Послание понятным для Посланника, передал его человеческим языком. Человеческим, не Божественным.

Книга есть несотворенное Слово Всевышнего.

Но мы же согласились, что у Бога нет слов. А в этом случае то, что мы читаем, — интерпретация переданного Богом. И потому, вероятно, могут существовать и другие интерпретации этого? Возможно, то, как это понимаешь ты, как это понимает твой Ютуби, — не единственное возможное понимание? Возможно, единственного правильного понимания вовсе не существует?

Вы змий.

Могу я спросить у тебя: на каком языке ты читал Книгу? На первом или на каком-то другом?

Я читал ее на более низком наречии, на котором мы говорим с вами сейчас.

Еще один перевод.

Я понял ее, благодаря многим часам наставлений, которые дал мне имам Ютуби.

Во время своей ночной жизни, запертый в своем подвале, глядя в свой ноутбук. В перерыве между компьютерными играми и кино на *Netflix*.

Разумеется.

И то, что ты получил у своего многоликого имама, представляет собой дальнейшие интерпретации. Переводы переводов переводов, снова и снова, можем мы сказать.

В том, что вы говорите, нет смысла. Это не имеет никакого отношения ни к чему, что по-настоящему важно.

Я пытаюсь донести до тебя предположение, что даже в рамках твоей собственной традиции существует неопределенность. Некоторые из твоих собственных первых философов говорили об этом. Твои Ютуби, жившие за несколько веков до появления Ютуба. Они говорили, что интерпретации могут быть у всего, даже у Книги. Ее можно толковать, исходя из реалий того времени, в котором живет толкователь. Буквальное же

понимание ошибочно.

Это не так. Слово есть Слово. Ставить это под сомнение означает ставить под сомнение смысл самой жизни. Стабильность Вселенной.

Позволь мне задать тебе один последний вопрос, и потом мы сможем отдохнуть до завтра. Ты когда-нибудь бывал в Иерусалиме?

Нет.

Поскольку в Иерусалиме, как ты знаешь, расположена мечеть Купол Скалы.

Харам аш-Шариф. Аль-Акса.

Знаешь ли, я тоже не был в Иерусалиме. Но мне рассказывали, что на стенах этой мечети записаны некоторые стихи из твоей Книги.

Да, это естественно.

А еще мне сказали — вот что любопытно, — что некоторые стихи там немного отличаются от тех, что содержатся в Книге, которую ты читаешь сейчас.

Такого не может быть.

Это невозможно, так? Потому что это очень

старая мечеть. И что это может тогда означать? То, что те древние слова на стенах мечети не полностью совпадают со словами, которые ты читаешь на страницах Книги?

Это означает, что вы говорите неправду. Что вы лжете. Как обычно.

Не стану спорить. Я не видел этого собственными глазами.

Вы сказали, что то, что вы пишете, это художественная литература, “вымысел”. А это значит то же самое, что и слово “ложь”.

Как и “секулярный”.

Совершенно верно. Вы проживаете свою жизнь, будучи лжецом.

Давай остановимся на этом. Возможно, завтра беседа пойдет легче.

Беседа вторая

Мы можем сегодня утром поговорить о поездках за границу? Ты любишь ездить за рубеж? Ты согласен, что путешествия расширяют сознание человека?

Опять тупые вопросы. Туризм мне неинтересен. Мир везде один и тот же. Вопрос в том, способен ли человек видеть его таким, какой он есть. Немногие люди способны на это.

Но в 2018 году ты уезжал за пределы Америки. Ездил в Ливан.

Я ездил повидать отца. Это не туризм, а противоположное.

Рассказывают, что Бейрут был тогда, до взрывов 2020 года, очень красив. Тебе повезло, что ты его видел. Город великой культуры, великой цивилизации, либеральный, открытый город, который называли Парижем Востока.

Я пробыл в Бейруте недолго. И вы романтизируете. Возможно, вы не знаете про конфликты, которые происходят в этой части мира, про гражданскую войну, про войны, в которых участвуют Сирия и Израиль. Мой отец живет не в Бейруте. Он живет в деревне недалеко от границы.

Твоя мама говорила, что сначала тебе там не понравилось и ты хотел сразу же уехать обратно. Но ты пробыл там месяц и вернулся назад другим. А это значит, что это поездка повлияла на твое сознание.

Моя мама может говорить все, что ей угодно.

Твой бывший отчим был очень удивлен тем, что ты сделал. Он плакал и говорил, что ты был умным, что у тебя было доброе сердце и что ты и пальцем бы никого не тронул. А это значит, что ты изменился. С тобою что-то произошло, когда ты был там, что-то, что полностью изменило твою личность.

Молчание.

Твои соседи в Фэрвью, Нью-Джерси, охарактеризовали тебя как одиночку, который особо ни с кем не общался. Однако в Ливане, я подозреваю, ты с кем-то пообщался. Подозреваю, что ты там познакомился с людьми.

Да, конечно.

И что ты можешь рассказать о людях, с которыми познакомился?

Они были сильными. У них была власть. Они понимали наш мир. Видели его таким, каков он есть.

Они были религиозны? Более религиозны, чем твоя мама и сестры?

Это были мужчины. У них было настоящее, мужское понимание веры. Они никому не давали скармливать себе их дерьмо. Они служили Всевышнему и сражались за Него.

Они открыли тебе глаза.

Они открыли мне сердце.

А потом ты вернулся домой, перебрался в подвал материнского дома и перестал разговаривать с мамой и сестрами. Чем ты там занимался?

Как вы уже сказали. Играл в компьютерные игры и смотрел *Netflix.* И слушал имама Ютуби.

И ты прожил так четыре года.

Я размышлял.

Размышлял о чем?

О том, как много у нас врагов. Вы и сами то же самое говорили. Четвертая часть человеческой расы — два миллиарда человек — это мы, а оставшиеся три четверти — не мы, которые испытывают ненависть к нам. Вы можете видеть это в Америке повсюду. Я видел это также и в Ливане. Враги вокруг нас, и нам следует учиться, как воевать с ними. Два миллиарда против шести

миллиардов. Мы должны учиться побеждать в меньшинстве.

Я бы хотел развить ее, идею о врагах.

Разумеется. Потому что враг — это вы.

И идея врага оправдывает насилие в отношении таких людей.

Враг и есть насилие в человеческом облике. Насилие ходящее, говорящее и совершающее поступки. В определенном смысле враг — это не человек. Это дьявол. Как же следует поступать по отношению к подобным существам? Вы знаете ответ. Потому что вы сами такое существо.

Ты считаешь меня насилием, воплотившимся в облике человека. Тебе понадобилось четыре года, чтобы постичь это.

Вы не важны. Я много чего постиг. В конце концов я спросил себя: что лично я готов сделать с врагом? И только после этого я стал думать о людях вроде вас.

И что это за люди такие “вроде меня”?

Вас ненавидит два миллиарда человек. И это все, что необходимо знать про вас. Что вы чув-

ствуете, каково это, когда вас так ненавидят? Вы должны ощущать себя червяком. Со всеми этими вашими умными разговорами вы сами знаете, что вы даже меньше, чем червяк. И мы должны раздавить вас своими каблуками. Вы тут разглагольствуете о поездках в разные страны, но в половину стран мира вам и ногой ступить не дадут, потому что вас там настолько ненавидят. Давайте, скажите об этом что-нибудь, чего ж молчать.

Я многое знаю о том, что значит демонизировать, это правда. Я знаю, что можно создать такой образ человека, его второе “Я”, которое будет иметь очень мало общего с его исконным “Я”, но в которое поверят, потому что его будут тиражировать снова и снова, до тех пор пока оно не станет выглядеть настоящим, даже более настоящим, чем изначальное “Я”. Я считаю, что это второе “Я” было тем, о чем ты узнал, что сделал мишенью для своего чувства врага. Я отвечу на твой вопрос: я не есть это второе “Я”. Я — это я, и я повернулся спиной к ненависти и стал двигаться к любви.

Нет, это все фейк. То, что я знаю про вас, и есть настоящее. Все об этом знают.

У Ганса Христиана Андерсена есть история про

тень, которая отделилась от человека и сделалась даже более реальной, чем сам человек. В конце сказки тень женится на принцессе, а настоящего человека казнят за то, что он — фейк.

Плевать я хотел на истории, я уже говорил вам это.

А что, если я расскажу тебе, что самое сердце книги, которую я написал — той, что ты ненавидишь, хотя прочитал всего две страницы, — это мусульманская семья из Восточного Лондона, они держат небольшой ресторанчик и описаны в книге с настоящей любовью? Что, если я скажу, что еще раньше я написал книгу, в которой поместил описанную с очевидной симпатией семью мусульман в сердце рассказа о достижении Индией и Пакистаном независимости? Что, если я скажу тебе, что, когда некоторые жители Нью-Йорка выступали против плана построить мечеть недалеко от мемориала жертвам 11 сентября, Граунд-Зеро, я отстаивал право мечети находиться там? Что, если расскажу, что нахожусь в последовательном противостоянии с нынешней индийской администрацией, противостою ее одноконфессиональной идеологии, главной жертвой которой становятся мусульмане? И что,

если скажу тебе, что как-то написал также книгу, в которой описана ситуация, в которой находятся мусульмане в Кашмире и молодой кашмирец, начавший свой джихад, и это сделано с симпатией? Да, к слову — я написал эту книгу, она называется “Клоун Шалимар”, я написал ее о тебе еще до того, как узнал тебя, и когда я писал ее, понял, что характер — это судьба; так вот, это именно то, до чего я пытаюсь достучаться в тебе, — то, что находится ниже всей этой болтовни Ютуби, то, что сделало для тебя возможным взяться за нож.

То, что вы мне говорите, неважно. Мы знаем, кто вы есть. И если вы считаете, что сможете переиграть нас, вы просто дурак.

Ну что же. В таком случае, я и есть такой дурак.

Молчание.

А что, если я скажу тебе, что причина, по которой я и люди вроде меня всегда выступают против смертной казни, состоит в том, что выносится очень много ошибочных приговоров и, если эти приговоры уже приведены в жизнь, дела этих ошибочно приговоренных людей уже не могут быть пересмотрены?

Не врите. Вы выступаете против смертной казни, потому что вас заслуженно к ней приговорили, а вы боитесь умирать.

Что если я скажу тебе, что есть писатели-мусульмане, которые считают мою книгу — ту самую книгу, которую ты возненавидел после того, как прочел две страницы, — прекрасной и правдивой? Что если скажу, что они восхищались ею, называли могущественным произведением искусства? Есть ли хоть малейший шанс, что ты рассмотришь возможность, что существуют и другие взгляды на то, что я делаю, на то, что я уже сделал? Что если ты позднее прочитаешь этих авторов и поймешь, что ошибался?

Это неважно. Я не особо-то и читаю на самом деле. Не уверен, что про вас есть сюжеты на *Netflix* или компьютерные игры с вашим участием.

У тебя будет предостаточно времени для чтения. Не думаю, что там, где ты будешь находиться, есть *Netflix* или компьютерные игры.

Мне все равно.

Твоя любимая компьютерная игра — это *Call of Duty*, как я представляю, верно?

Это вы так себе представляете.

А что, если я скажу тебе, что мой младший сын — мой сын младше тебя меньше чем на два года, — продвинутый игрок в эту игру? Может быть, вы с ним даже играли друг против друга где-то внутри этой геймерской вселенной? Что ты будешь чувствовать, если это так? Если вы, возможно, скрытые всеми вашими псевдонимами, дружили? Были приятелями-соперниками? Или даже играли за одну и ту же команду?

Я ничего не чувствую по этому поводу.

Писательница Джоди Пиколт в романе “Ангел для сестры” говорит: “Позвольте сказать вам: если вы встречаете одиночек, что бы они вам ни говорили, их отрешенность от мира не объясняется любовью к уединению. Все оттого, что они не раз пытались встроиться в жизнь и постоянно разочаровывались в людях”[16]. Я считаю, что это помогает. Вот я вижу тебя сейчас: тебе двадцать четыре, ты уже разочаровался в жизни, разочаровался в своей матери, своих сестрах, своем отце, в том, что у тебя нет боксерского таланта, в том, что у тебя вообще никаких талантов нет; ты разоча-

[16] Примечания: 16
Перевод Е. Бутенко.

рован мрачным будущим, перспектива которого открывается тебе, и ты отказываешься винить в этом самого себя. Но тебе очень нужно кого-то во всем этом обвинить, ты очень хочешь кого-то обвинить, и все эти невысказанные обвинения, они выплывают за пределы тебя, копятся вокруг, а потом что-то — пост в Твиттере, видеосюжет, да что угодно — и все эти обвинения длиною в жизнь вдруг оказываются направленными на меня, нависают над моей головой, и ты начинаешь разрабатывать свой план.

Тишина.

Мне просто интересно. В своей ночной жизни ты много времени просуществовал в выдуманных вселенных. В этих вселенных, во вселенной *Call of Duty*, смерть присутствует повсюду, но это ненастоящая смерть. Ты убиваешь много, много людей, но при этом ты никого не убил. Вот ты идешь: бежать убить укрытие. Бежать убить спрятаться. Когда ты поехал в Чатокуа, не было ли это поворотом в игре? Ты думал, что совершишь убийство, в результате которого никто не умрет? Или, возможно, ты даже не был уверен, что сделаешь это, поскольку тогда придется пересечь границу, отделяющую игровой мир от

нашего, и возможно, это для тебя слишком? Ты мог нести с собой игровой нож, но в этом мире он по-настоящему режет. Наносит раны и убивает по-настоящему. Я думаю, что ты до последнего не был уверен, что на самом деле собираешься это сделать, не был уверен до тех пор, пока я не вышел на сцену, а ты не встал со своего места и не побежал. И только тогда твои бегущие ноги перенесли тебя через точку невозврата, и возможности остановиться уже не было. Ты уже был прямо передо мной, и там был я, и я был: реальность. Настоящая, самая что ни на есть реальная реальность, она стоит на своих ногах прямо перед тобой и смотрит тебе прямо в глаза. Там был я, но все твои другие реальности там были тоже — твое одиночество, твой неуспех, твои разочарования, твоя потребность найти виноватого, твои четыре года религиозной пропаганды, твоя идея Врага. Я был всем этим вместе, и ты стал наносить мне удары ножом, и ты думал, что это страшно, тебе это нравилось, но в то же время ты испытывал страх. Тебе было до смерти страшно. Потому что тем, кто жил в придуманном мире, оказался ты сам, и в этот момент ты пожинал плоды того, что твои выдумки привели тебя в реальный мир, они привели тебя, так и скажем, к убийству и

к тому, что твоя собственная жизнь оказалась разрушенной.

Тишина.

Беседа третья

Разреши мне узнать у тебя, есть ли у тебя девушка?

Что это еще за вопрос?

Обыкновенный вопрос, который обычно задают обыкновенным молодым мужчинам. Ты когда-нибудь был влюблен?

Я люблю Всевышнего.

Да, но я говорю о людях. Я помню, ты мне рассказывал о своих небесных гуриях. Но Небеса пока что еще очень далеко. Никаких гурий в ближайшее время. Есть у тебя кто-то здесь?

Это не ваше дело.

Буду считать, что ты так ответил “нет”. Может, есть близкий друг? Помню, ты рассказывал, что в Ливане настоящие мужчины вызвали у тебя восхищение. Как в Джерси насчет настоящих мужчин?

Не говорите мерзостей.

Я понял — это снова “нет”. Просто хочу удостовериться: этого не было *никогда*? Ни единого человека за всю твою жизнь? Это заставляет меня испытывать неожиданные эмоции.

Что еще за эмоции?

Жалость.

Вы испытываете жалость *ко мне*? Нет-нет-нет. Это я. Это *я* испытываю жалость *к вам*. А еще вы лезете не в свое дело, бесцеремонно и грубо.

Я расскажу тебе, что бесцеремонно и грубо. Двадцатисемисекундное нападение с ножом. Вот это бесцеремонно и грубо. И в моем понимании это дает мне право задавать тебе личные вопросы. В чем состоит разница между девственником и тем, кому никто не дает?

Отвалите.

Тот, кому не дают, злится из-за того, что остается девственником. А ты злой парень. Шесть миллиардов врагов, ноль друзей, даже меньше ноля любовников. Ты в ярости. Так много неудовлетворенности. Мне просто интересно, кого именно ты пытался убить на самом деле.

Какую-нибудь девицу, что тебя отшила? Какого-нибудь парня из спортзала или с израильской границы? А может, свою маму? Так считает одна моя подруга, а она намного умнее, чем я. Был ли я твоей прокси-жертвой? Чье лицо ты видел перед собой, когда наносил мне удары ножом?

Этот разговор окончен.

Нет, не окончен. Важная особенность всего этого — это то, что оно происходит в моей голове, так что разговор не окончен, пока моя голова так не решит. Тебе даже не надо думать о том, что сказать. Я сам вложу в твой рот слова.

Тогда такие слова не будут иметь смысла.

Я думаю о некоторых других убийцах, вдохновлявшихся религией: о мужчинах в угнанных самолетах 11 сентября 2001 года, о мужчинах в Мумбаи, которые совершили смертоносное нападение на гостиницы “Тадж-палас” и “Оберой”, на иудейский центр “Шабад”, на всеми любимое кафе “Леопольд” 26 ноября 2008 года. Не помню, чтобы какая-нибудь жена или любовница афишировала свою связь с кем-то из них, не помню ни одной объятой ужасом спутницы жизни, что осуждала бы их либо оплакивала. Может статься,

для любящего человека будет сложнее совершить такие хладнокровные нападения. Может статься, что для таких людей одиночество — изначально необходимое условие, делающее желанным свершение подобных деяний. И может статься, ты, дорогой А., тоже входишь в эту группу убийц-одиночек?

Если это то, во что вы для себя решили верить, верьте в это. И все же: моя жизнь на эмоциональном уровне не имеет ничего общего с тем, что я выбираю.

А теперь давай поговорим об Америке.

Зачем?

Просто хочу проверить, удастся ли мне обнаружить под маской исламистского радикала мальчика из Джерси. Тебе нравится Спрингстин? Ты следишь за футболом? Болеешь за “Джетс” или за “Джайентс”? Баскетбол? Ты отписался от них в соцсетях, когда они переехали в Бруклин? Что насчет Бон Джови? Куин Латифы? Мерил Стрип? Хотя я, пожалуй, сниму вопрос про Мерил Стрип. Не думаю, что она — твой типаж.

Я не буду вам отвечать.

Тогда давай поднимемся до национального уровня. Американа, идея Америки. Ты не считаешь, что убийство — это особый вид спорта по-американски? Американцы убивают друг друга в больших количествах на ежедневной основе. Мы убиваем всех на свете — детей, взрослых, евреев, сам продолжи список. Мы убиваем в торговых центрах, в больницах, в религиозных святилищах. Я говорю “мы”, потому что я тоже гражданин Америки. Ты здесь родился, а я нет, так что ты можешь возразить мне, что я не настолько американец, насколько ты. Конечно же я никогда не задумывался о том, чтобы убить кого-то, тем более не разрабатывал подобный план. А вот ты разработал план. И все же тебе не удалось успешно претворить его в жизнь. И это — то, что присутствует в тебе, — не особенно-то американское, именно так я сейчас думаю. А что думаешь ты?

Я думаю, как много в вас дерьма.

Позволь мне задать тебе серьезный вопрос. Как ты считаешь, какова ценность отдельно взятой человеческой жизни?

В каком смысле “ценность”?

Я имею в виду не денежную стоимость. Не спрашиваю тебя, во сколько бы ты оценил каждый нанесенный тобою удар. Мой вопрос в большей степени касается морали. Жизнь: она, по-твоему, дорого стоит или дешево?

Зависит от того, чья это жизнь.

И кто же определяет ее ценность?

Любой, у кого есть власть над кем-либо еще. Если вы не обладаете властью, ваша жизнь ни хрена не стоит.

Это означает, что — с ножом в руках — ты обладал властью и ты определил, насколько ценной является моя жизнь.

Можно и так сказать.

Однако теперь ты находишься в тюрьме, а я задаю тебе вопросы. Удивительно, правда?

Да. Меня это удивляет.

Как ты определишь, насколько ценна твоя собственная жизнь? Мне это любопытно. Я все ждал удобного случая, чтобы спросить тебя про Сократа, который говорил, что неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой. Из этого сле-

дует, что только осмысленная жизнь *стоит* того, чтобы быть прожитой. Вот мой вопрос: осмыслил ли ты собственную жизнь? Заглядываешь ли ты каждый день внутрь себя, пытаешься ли понять, что ты думаешь по поводу того, что сделал?

Для меня это звучит так тщеславно. Звучит, что твой гребаный нарциссизм. “Ой, жизнь, дай-ка мне заглянуть внутрь, ведь это же все касается меня. Я есмь то, что важно”.

А ты — не есть то, что важно?

Я все это время пытаюсь донести до вас эту мысль. Я не важен. А вы — то-что-еще-более-неважно. Единственное, что важно — служить Всевышнему. Если вы являетесь его слугой, вот это важно. Послушайте: в школах делают опыт с мелкими железяками и магнитом. Когда ты подносишь магнит, все железяки выстраиваются в одну линию. Все оказываются направлены в одном направлении. Вот об этом я вам и говорю. Этот магнит — Всевышний. И если ты сделан из железа, будешь направлен в правильном направлении. А железо — это вера.

Я начинаю понимать. Ты хочешь быть слугой. Ты стремишься найти хозяина либо идею, кото-

рая будет больше, чем ты сам, перед которой ты сможешь склонить голову. Ты не хочешь быть свободным. Ты хочешь быть покорным.

Вы по-прежнему так и не понимаете. Только покорность ведет к свободе. В этом вся чертова штука.

Спасибо. У меня осталось совсем немного вопросов, которые я бы хотел задать тебе. Но они подождут.

Отпустите меня. Позвольте уйти отсюда. Это что, ваша месть — держать меня как в тюрьме, внутри своей головы?

Это не тюрьма. Может быть, это школа.

Вы ничему не можете меня научить.

Именно в этой точке мы и находимся. Там, где учитель не в состоянии учить, а ученик не в состоянии учиться. К тому же даже непонятно, кто именно здесь студент. А кто преподаватель.

И так будет продолжаться вечно.

Вечность — это слишком долго. Давай просто считать это пожизненным заключением.

Беседа четвертая и последняя

В эссе “Вера традиционалиста” Бертран Рассел сказал вот что: “Люди склонны верить в то, что соотносится с их страстями. Жестокие люди верят в жестокого бога и используют свою веру для того, чтобы оправдать собственную жестокость. Только добрые люди верят в доброго Бога, а они и так будут добры в любом случае”. Звучит убедительно, однако к твоему случаю, дорогой А., как кажется, это не особенно применимо. Сколько тебе было лет, когда ты поехал в Ливан повидаться с отцом? Девятнадцать? Одинокий мальчик, безотцовщина на протяжении большей части своей жизни, мальчик с вакуумом внутри, легко ведомый, легко убеждаемый, желающий, чтобы его вели и им руководили, однако не жестокий молодой человек. Тот “умный мальчик с добрым сердцем, который никого и пальцем не тронет”. И тут встает вопрос: можно ли такого ребенка, почти уже взрослого, обучить жестокости? Эта жестокость, она всегда была в нем, пряталась в какой-то далекой пещере и ждала, когда будут произнесены правильные слова, которые позволят ей выйти наружу? Или ее могли просто посадить, как растение, в его невинную душу, в твое наполовину сформировавшееся естество, и она прижилась там и расцвела? Люди, которые

знали тебя, были потрясены тем, что ты сделал. Живущий внутри тебя убийца прежде никогда не показывал своего лица. И этому невинному естеству понадобилось провести четыре года с имамом Ютуби, чтобы стать тем, чем оно — чем ты — стало.

Вы не знаете меня. И никогда меня не знали.

Есть одна вещь, я повторял ее в тот день, когда на “Сатанинские стихи” и их автора обрушилась катастрофа: что один из способов понять споры вокруг этой книги — это посчитать, что они сводятся к противостоянию тех, у кого есть чувство юмора, с теми, у кого его нет. И вот теперь я смотрю на тебя, мой неудавшийся убийца, ассасин из числа фарисеев, *mon semblable, mon frère* — мой приятель, мой брат. Ты мог пытаться убить потому, что ты не умеешь смеяться.

Наш воображаемый разговор окончен. У меня больше нет сил воображать его. Точно так же, как он никогда не был способен вообразить меня. Однако еще осталось то, что я хотел бы сказать ему, пусть я и не верю, что он способен это услышать.

Самое важное из этого — идея о том, что искусство противостоит ортодоксии. Отвергать или поносить искусство потому, что оно это дела-

ет, — значит не понимать его природу. Искусство противопоставляет исполненный вдохновения индивидуальный взгляд художника общепринятым идеям времени, в которое он живет. Искусство знает, что общепринятые, полученные извне идеи — для искусства враги, как сообщил нам Флобер в “Бувар и Пекюше”. Клише — это общепринятые идеи, и то же самое представляют из себя идеологии, и те, что строятся на санкциях невидимых богов в небесах, и те, что нет. Без искусства наша способность мыслить, смотреть свежим взглядом, привносить в наш мир обновления начнет слабеть и исчезнет.

Искусство не есть роскошь. Оно входит в саму суть человеческой природы. И ему не нужно никаких дополнительных оправданий, кроме имеющегося у него права на существование.

Оно приемлет споры, критику, даже отрицание. Оно не приемлет насилия.

И в конце концов переживает тех, кто ему противостоял. Поэт Овидий был отправлен в ссылку цезарем Августом, но стихи Овидия пережили Римскую империю. Жизнь поэта Мандельштама была разрушена Иосифом Сталиным, но его стихи пережили Советский Союз. Поэт Лорка был убит подосланными генералом Франко головорезами,

но его искусство пережило фашизм Испанской фаланги.

Порой человеку попадаются слова, которые, как ему кажется, нужны ему, которые звучат для него как правильные слова, даже несмотря на то, что они принадлежат писателю, которого он не очень-то и знает, или философу, которого он не читал. Вот слова, сказанные Джозефом Кэмпбеллом о Ницше:

> Его [Ницше] посетила идея о том, что он обозначал как “любовь к своей судьбе”. В чем бы ни состояла ваша судьба, что бы – ко всем чертям – ни происходило, говорите: “Это именно то, что мне нужно”. Любая катастрофа, которую вы можете пережить, служит для улучшения вашего характера, вашего статуса и вашей жизни.

Спустя какое-то время человек понимает, что сказанное здесь — клише и что оно, возможно, неверно. Или, если перевести это на простой язык: то, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Но делает ли? Делает ли на самом деле?

7. Второй шанс

Милан Кундера, которого не стало, пока я писал эту книгу, считал, что жизнь — дело одного глотка. Пересмотреть то, что происходит, ты не можешь. Второй редакции не предусмотрено. Именно это он называл “невыносимой легкостью бытия”, и это название, как он однажды признался, могло бы стать названием для каждой из написанных им книг, и легкость эта может быть столь же “освобождающей”, сколь и “невыносимой”. Я тоже всегда так считал, однако нападение 12 августа заставило меня изменить свое мнение. Залечивая свои раны, как физические, так и психологические, я был очень далек от мысли, что выйду из этого опыта “сильнее”. Я просто радовался тому, что выхожу из него живым. А “сильнее” я стал или “слабее”, говорить еще слишком рано. Я знал только, что благодаря комбинации удачи, мастерства хирургов и заботы любящих людей я получил второй шанс. Мне дали то, что Кундера считал невозможным — второй глоток жизни. Я получил его вопреки всему. Так что теперь вопрос стоял следующим образом: когда тебе дали еще одну возможность, что ты будешь с ней делать?

Как ты ее используешь? Что ты станешь делать по-старому, а что сделаешь по-другому? Я поймал себя на том, что думаю о Раймонде Карвере и его стихотворении “Самый сок”, оно о человеке, которому сначала сказали, что ему осталось жить полгода, а потом он получил дополнительное десятилетие к жизни. Когда он писал это стихотворение, то знал, что его собственное время окончательно вышло. Рак легких крепко держал его и не собирался отпускать.

…“Не плачьте обо мне”.

Он говорит своим друзьям. “Я человек везучий.

Я прожил на десять лет дольше, чем я сам или кто-то еще

Мог ожидать. Самый сок. Об этом стоит помнить”.

Правильно думать об этом именно так. Каждый день жизни — теперь — это самый сок. Благодарю, Рей. Я тоже “могу сказать, что был любим”, я тоже “чувствовал себя любимым на земле”. И ненависть чувствовал, да, ее тоже, но то, что “был любим”, перекрывает всю ненависть.

Элиза и я, мы решили, что не будем загадывать далеко вперед. Мы будем благодарны за каждый день этого самого сока и будем проживать его с

полной отдачей. Каждый день мы будем спрашивать себя: как мы себя сегодня чувствуем? Как обстоят сейчас дела? Что было бы хорошо сегодня сделать, что бы мы хотели сделать снова, и, если хотим, как и с кем мы будем делать это? Какие вещи мы должны перестать делать, пока наши инстинкты не подскажут нам обратное? Кратковременность стала нашей философией. Горизонт слишком далек от нас. Мы так далеко видеть не можем.

За неделю до Дня святого Валентина в свет вышел “Город Победы”, и то, как его приняли, обрадовало меня до глубины души. Я получил как хорошие отклики в прессе, так и не столь хорошие, но они были совершенно особенными, частично по понятным всем причинам — я ведь все еще являлся этому свидетелем, — но в основном из-за того, что было не столь очевидно: рецензии на мою книгу и комментарии о ней писались не из чувства симпатии или сочувствия, не было этого: “Бедненький Салман, давайте с ним помягче”, они показывали серьезный интерес к моей книге как к произведению искусства. Как правило, я забываю хвалебные рецензии и помню только плохие, однако на этот раз я не фокусировался на негативе. Больше всего я был

горд тем, что моя книга пользовалась успехом в Индии, где о ней говорили со знанием дела, пониманием, воодушевлением и любовью. Пожалуй, это встреченная на родине с самой большой теплотой моя книга после “Детей полуночи” давным-давно. Именитые индийские критики, пишущие для западных журналов, также не жалели комплиментов. Это была публикация мечты, она дала мне надежду и прибавила сил.

Я был не в состоянии сделать много, чтобы поддержать выход своей книги. Чем-то сверхвыдающимся, однако, показалось мне то, что мои товарищи-писатели вышли вперед, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. Я смотрел стрим, в котором Нил Гейман и Маргарет Этвуд обсуждали “Город Победы” в гостях у Эрики Вагнер, он имел очень большую зрительскую аудиторию, и Сарита Чоудхури читала там отрывки из книги — она делала это лучше, чем я мог мечтать, чтобы кто-то мог их прочесть. На фестивале литературы и искусства в Хей, Великобритания, Элиф Шафак, Дуглас Стюарт и снова Этвуд также обсудили и похвалили роман. В какую бы сторону я ни смотрел, планируя свои дальнейшие шаги назад в мир, я чувствовал, как друзья ободряюще похлопывают меня по плечу.

Я съездил в Бруклин навестить Пола Остера на Парк-Слоуп. Что за год у него выдался… Сначала смерть внучки, а вслед за ней — смерть сына. И вот теперь рак. Он начал химиотерапию, у него выпали волосы. У Пола всегда были прекрасные волосы. Теперь он не снимал шляпу. Он терял вес. Но настрой у него был хороший. Ему нужно было получить четыре дозы химии с перерывом в три недели, а также пройти иммунотерапию. Была надежда, что после этого опухоль уменьшится. Потом месяц или полтора после химиотерапии будет мучить слабость, а затем, как он надеялся, его прооперируют. На операции ему удалят две или три доли одного из легких. Я напомнил ему, что драматург, впоследствии ставший президентом Чехии, Вацлав Гавел, тоже заядлый курильщик, после подобной операции остался только с половиной одного легкого, но довольно хорошо с этим справлялся. Он засмеялся и сказал, что рассчитывает справляться еще лучше. Было приятно его увидеть и услышать его смех. Я был рад видеть, что он настроен оптимистично. Однако рак коварен. Можно только надеяться на лучшее.

Важной новостью — для меня по крайней мере — стало то, что после полугодовой паузы

писательские соки вновь зашевелились по-настоящему. Я не могу сказать, когда это случилось, не могу связать с конкретным событием, но, оглядываясь назад, могу предположить, что этому, возможно, способствовало то, что я вновь осторожно возвращался в обычную жизнь. Я написал заявку на книгу, которую вы сейчас читаете, и она понравилась моим издателям. Я стал — вновь — автором, который должен написать книгу.

Говоря откровенно, это была и есть та книга, писать которую мне было скорее не нужно. В моей голове была и есть другая книга, которая, как я думал, последует за "Городом Победы", роман о мистическом и загадочном Колледже; чтобы подготовиться к написанию этой книги я перечитал "Волшебную гору" Томаса Манна и "Замок" Франца Кафки, две великие книги о мистических и загадочных микрокосмах, одним из которых, как я надеялся, станет и мой Колледж. Я всеми силами старался избежать клише "слон в комнате", однако неизбежная правда состояла в том, что в моем кабинете имелся чертов громадный мастодонт, он махал хоботом, фыркал и довольно ощутимо портил воздух. В романе "Кишот" я писал о комически-абсурдных мастодонтах, о том, как жители Нью-Джерси на

самом деле превращались в мастодонтов, и вот теперь, явно связанное с Джерси, появилось мое собственное чудовище, оно требовало, чтобы его приняли в расчет.

Этой книгой я принимаю его в расчет. Я сказал себе, что это мой способ сделать частью себя того, что случилось, сделать это своим — сделать это своей *работой*. А работа — это то, про что я знаю, как это делать. Пережить нападение с ножом — то, про что я не знаю, как это сделать. Книга о покушении на убийство может стать для почти убитого тем, что поможет ему обрести контроль над случившимся.

Писать о посттравматическом синдроме всегда непросто, ведь тут имеет место и травма, и огромный стресс, а также наступившее вследствие этого расстройство личности. Еще сложнее, когда вы оба — ты и твоя любимая супруга — испытываете их одновременно, но переносите по-разному. И по-настоящему трудно делать это, когда у тебя один глаз и полторы руки, потому что сам процесс письма, то, как странно он происходит, на физическом уровне напоминает тебе при каждом ударе по клавиатуре о причине, по которой ты испытываешь эту боль. Рука словно одета в перчатку, похрустывает, когда ею двигаешь. А

глаз… Присутствие его отсутствия ощущается сильнее всего.

Моим способом справляться с посттравматическим расстройством было демонстрировать — большую часть времени, — что со мной все в порядке. Я заявил своему психотерапевту:

— Я не понимаю, какую пользу может мне принести, если я начну жаловаться.

Он рассмеялся:

— Вы разве не знаете, что причина, по которой вы здесь, — наличие жалоб?

После этого я стал пытаться выговариваться, но это давалось непросто. Это идет вразрез с моей природой. Элиза другая. Я каждый день мог наблюдать, как сильно она потрясена, как далеко отброшена от той точки, где была счастлива, с каким трудом ей удается оставаться деятельной, любящей и вовлеченной. Друг для друга мы смогли сделать только одно — создать атмосферу, наполненную заботой и поддержкой, и продолжать идти вперед, пока грозовые тучи над нами окончательно не развеются.

Случались моменты, когда напряжение ощущалось особенно сильно.

— Мне нужно уехать, — сказала Элиза, — мне нужно какое-то время побыть одной, чтобы поду-

мать, позаботиться о себе и восстановиться.

Я согласился и позвонил менеджеру курорта на Карибских островах, где мы отдыхали в более счастливые дни.

— Конечно, — пообещал он, — мы о ней позаботимся.

Было тяжело видеть, как она уезжает, но ей на самом деле было это нужно. А благодаря ее видеозвонкам по фейстайму много раз на дню я мог наблюдать, как ее лицо вновь становится прежним, как спадает напряжение. Карибская магия работала.

Конечно, было бы слишком просто сказать, что смена декораций все исправила, но она дала такую нужную дозу оптимизма.

Что касается меня, то были такие дни, особенно когда я был один, когда мне было трудно встать с постели и мною полностью овладевали негативные мысли: ну вот и все, я выдохся, просто нападение забрало у меня слишком много, может, оно еще продолжает убивать меня, медленно, несмотря на то что кажется, будто я так чудесно восстановился; может, нож проник внутрь меня и сейчас продвигается к сердцу… Однако мне хватало сил отбрасывать такие мысли. Я стал задумываться, не уехать ли и мне.

До нападения я по много раз в году летал в Лондон, чтобы побыть с семьей и старыми друзьями, а также чтобы издавать свои книги. Теперь я не знал, как можно будет это осуществить. Мои родственники переживали за мою безопасность. Я понимал, что каждого из них придется убеждать. Поэтому я сделал то, чего не делал уже очень долгое время. Я написал электронное письмо отвечающему за внешние контакты офицеру из Отдела специальных операций Скотленд-Ярда.

Когда-то Отдел специальных операций, сотрудники которого ходили в штатской одежде, входил в состав Службы столичной полиции Лондона и обеспечивал охрану политикам и другим людям, которым предположительно могла угрожать серьезная опасность. Отдельно от него существовало Отделение королевской защиты, осуществлявшее охрану королевской семьи. Постоянно имело место не (очень) сильное необходимое дружеское соперничество между этими двумя подразделениями. Однако теперь их объединили под единым началом, превратив в Специальное подразделение охраны, сокращенно RaSP. Вот уже много лет их позиция в отношении меня была следующей: если вы прибываете с частным визитом, наше участие не требуется.

Если же вы приезжаете на какое-то официальное мероприятие, мы будем вас сопровождать. Так что, когда выходили мои книги и я проводил связанные с этим публичные мероприятия в Лондоне или где-то еще, к примеру, на фестивале литературы и искусства в Хее, со мною были сотрудники подразделения охраны, и, оставаясь практические незаметными, они заботились о том, что нужно. Однако в других случаях моя жизнь находилась в моих собственных руках.

Вот что я написал им: “В свете произошедшего я бы хотел поинтересоваться, какой будет ваша позиция в случае моего приезда в Лондон”. Я получил мгновенный ответ, в нем выражалась искренняя обеспокоенность моим здоровьем, говорилось, какой ужас испытали все в Скотленд-Ярде по поводу того, что случилось, и сообщалось, что решение будет приниматься комитетом МВД, который решает, кто получает охрану и на каком уровне. RaSP подаст мой случай на рассмотрение в комитет сразу же, как только это будет возможно.

Решение было принято приятно быстро. Как мне сказали, комитету не понадобилось много времени, чтобы анонимно прийти к согласию о том, что на территории Соединенного Ко-

ролевства я должен снова получать полную круглосуточную вооруженную охрану. Выделенная Соединенным Королевством группа охраны встретит нас с Элизой у самолета и будет с нами все время, пока мы не сядем на самолет обратно. В моей семье все были довольны. Я был глубочайшим образом благодарен Соединенному Королевству за его готовность меня защищать. И все же это ощущалось так, словно меня унесло обратно в прошлое, из которого я сбежал двадцать лет назад, когда оценка "уровня угрозы" упала до отметки, когда дальнейшая охрана совершенно не представлялась необходимой. Ну что, мне не оставалось ничего, кроме как испытывать благодарность. И я был благодарен.

— Хотим вас успокоить, — сообщили мне. — Нам не известно о какой-либо угрозе в отношении вас на территории Британии. Но проблема в том, что всегда может найтись какой-то одинокий сумасшедший, нам трудно держать их всех на своих радарах.

Такое одновременно успокаивающее и не дающее успокоиться заявление.

Меня беспокоило другое. В те прежние скверные дни некоторые авиакомпании боялись меня перевозить. Бывали трудности и с поиском жи-

лья. Если хоть что-то из этих прошлых неудобств вернется, мне будет очень сложно перемещаться. Однако что-то изменилось. Никаких проблем у авиакомпаний не возникло, отели были готовы с охотой принять нас, страна широко распахивала нам свои объятия. В сознании общественности страх сменился любовью. А это означало очень многое.

В четверг 23 марта 2023 года мы приземлились в Лондоне, где нас с улыбкой на лице встречал Барри, начальник предоставленной нам группы охраны. Я сразу же почувствовал, что нахожусь в привычной обстановке, и испытал облегчение. Я уже знал, как это бывает. Все члены моей семьи и друзья тоже это знали и радовались тому, что мне обеспечивают безопасность. Для Элизы же это было несколько сложнее. У нее не было воспоминаний о тех прежних скверных днях, и ей — это можно понять — было совсем нелегко оказаться в окружении вооруженных офицеров, которые указывают ей на бронированные машины и говорят: не открывайте дверь сами, она слишком тяжелая, мы вам ее откроем. Окна в машине тоже не открывались, поскольку были сделаны из пуленепробиваемого материала и были не менее двух с половиной сантиметров толщиной.

Я попытался как-то разрядить обстановку.

— Представим, будто мы настолько богаты, что у нас несколько личных водителей, — рискнул пошутить я.

— Нет, — ответила она, — это ничего общего с этим не имеет.

— Или мы можем подумать о том, сколько денег сэкономим на такси через *Uber*, — продолжил я.

Она посмотрела на меня. Я знал этот взгляд. Он означал: перестань быть идиотом. И я перестал. И через несколько дней она немного привыкла к этому.

На этот раз все обстояло по-другому. В те прежние скверные дни они хотели, чтобы я стал "невидимым", так что им не нравилось, когда я хотел отправиться куда-то в публичное место (вроде ресторана), а если я направлялся навестить родственников или друзей к ним домой, то один или два сотрудника охраны тоже сидели вместе со мной внутри помещения. Также присутствовало постоянное невысказанное осуждение, оно исходило не от членов охранявшей меня группы, а от их начальства: растиражированное таблоидами представление, что в своих проблемах виноват я сам и что теперь на меня тратятся слишком большие деньги. На этот раз отношение

было гораздо более дружелюбным. Я могу ходить туда, куда посчитаю нужным, а они обо всем позаботятся. А когда я ходил к кому-то в гости, охрана ждала снаружи. Я не просто ощущал себя в безопасности. Я чувствовал, что меня ценят.

Те десять проведенных в Лондоне дней были насыщены эмоциями для всех. Милан навестил меня и сказал:

— Ты выглядишь гораздо лучше, чем при нашей последней встрече.

Да, не соглашался я, но это было пять месяцев назад, и после этого ты все время видел меня во время звонков по фейстайму.

— Это не одно и то же, — ответил он.

Самин чувствовала то же самое. В последний раз мы были с ней вместе семь месяцев назад, в травматологическом отделении больницы в Эри, когда я был совсем слаб и плох. Для нее тоже видеть меня во плоти было “настоящим”, тем, чего не могут передать цифровые изображения. И огромной радостью было увидеться с моей маленькой внучкой Роуз и со старыми друзьями. А еще было приятно видеть, что “Город Победы” представлен везде и повсюду, и услышать лестные отзывы о нем от друзей.

Элиза получила экземпляр последней бри-

танской верстки своего романа. На последней странице, где пишут благодарности, я обнаружил следующие слова:

> Салман, пусть наша любовь покажет этому невозможному миру, что невозможного нет. Я люблю тебя всем сердцем, люблю каждой историей, которая когда-то жила во мне и которая еще появится из меня на свет. Салман, ты – моя радость, мой дом, моя мечта и мое чудо – *Навсегда*.

Это было самое прекрасное признание в любви, которое я когда-либо читал, а тем более получал.

К тому моменту, когда мы вернулись в Нью-Йорк, я думал, что довольно четко понимаю, на чем мне следует сосредоточиться в жизни, данной мне как второй шанс: на любви и на работе.

После долгого молчания я вновь активировал свой аккаунт в Твиттере, чтобы способствовать продвижению “Города Победы”, делиться отзывами и тому подобным. Однако Твиттер — отравленный колодец, стоит лишь опустить в него ведро, и вычерпаешь положенную тебе долю грязи. Столкнувшись с мнением оксфордского

профессора, считавшего, что люди, защищавшие меня, одержимы “неолиберальной идеей свободы слова”, я мог просто пожать плечами. Но звучали и различные высказывания со стороны мусульман, радовавшихся тому, что со мной случилось: они надеялись, что я потеряю и второй глаз, и сравнивали меня — теперь одноглазого — с Даджалем, одноглазым “лжемессией” исламской демонологической традиции, который сначала будет притворяться пророком, а после заявит, что он и есть Бог. И вот я “разоблачен”, меня проинформировали, что Даджаль — это я. А еще я выглядел покореженным, был ужасен, словно монстр, и далее в том же духе. Не было необходимости впускать весь этот мусор себе в голову. Он не имеет ничего общего ни с любовью, ни с работой. С радостью и без тени сожаления я удалил Твиттер со своего телефона.

Я продолжал размышлять о конфликте историй, который так долго определял мою публичную жизнь — в одной обо мне говорится с уважением, в другой же — с отвращением, — и начал понимать, что этот конфликт следует рассматривать как часть глобальной войны историй, от которой страдаем мы все. 13 мая 2022 года американский ПЕН-клуб инициировал в

ООН уникальную международную писательскую конференцию, на которой писатели собрались, чтобы обсудить, какой наилучший ответ они могут дать мировому кризису[17]. — в частности, войне на Украине, но не только ей. Меня попросили коротко выступить на этом собрании. Вот что я сказал тогда:

Мы принимаем участие в мировой войне историй — войне, которую ведут между собой несовместимые версии реальности — и нам нужно учиться тому, как следует вести в ней бой.

В России поднялся тиран, он жестоко захватывает Украину, народ которой, во главе с сатириком, сделавшимся героем, оказывает ему героическое сопротивление и одновременно пишет легенду о свободе. Тиран же, чтобы оправдать свою агрессию, создает лживые истории — о том, что украинцы — нацисты, о том, что России угрожают западные заговорщики. Он стремится промыть мозги своему народу при помощи этой лжи.

В то же самое время Америка откатывается назад, в Средние века, поскольку превосходство белых распространяется не только на тела чер-

[17] Примечания: 17

Вы видите, что некоторые строчки в этом издании закрашены черным. Заинтересованные читатели могут найти их на страницах 179 и 180 издания на английском языке. *Салман Рушди*

ных, но и на тела женщин. Лживые истории, уходящие корнями в древнюю религиозность и идеи фанатиков, живших несколько сотен лет назад, используют, чтобы оправдать это, и они находят благодарную публику и последователей.

В Индии религиозная нетерпимость и политический авторитаризм идут рука об руку, и по мере того, как умирает демократия, возрастает насилие. И снова — игра ведется посредством лживых рассказов из индийской истории, рассказов, дарующих привилегию большинству и притесняющих меньшинства; и эти истории, надо сказать, пользуются популярностью, точно так же, как вызывает доверие ложь ~~российского тирана~~.

Такова, на данный момент, отвратительная ежедневная рутина мира. Как же нам следует отвечать ей? Как уже было сказано, это мои собственные слова: настоящее принадлежит людям, облеченным властью, однако будущее принадлежит писателям, ведь по нашим книгам — по крайней мере по лучшим из них, тем, что перейдут в это будущее, — будут судить о происходящих в нашем настоящем злодеяниях. Но как же мы можем думать о будущем, когда настоящее вопит, привлекая к себе наше внимание, и что

— если мы отвлечемся от будущих поколений и сосредоточим свое внимание на ужасном настоящем моменте, — что полезное и действенное можем мы совершить? Стихотворением не остановить пулю. Романом не обезвредить бомбу. Не все наши сатирики — герои.

Но мы не находимся в беспомощном положении. Даже после того, как Орфея растерзали, разорвали на куски, его отсеченная голова плыла по реке Гебр и продолжала петь, напоминая нам о том, что песня сильнее смерти. Мы можем петь правду и обличать лжецов, мы можем проявлять солидарность со своими товарищами, находящимися на фронтах, и помочь их голосам звучать сильнее, присоединив к ним свои.

И в первую очередь мы должны осознать, что истории всегда в центре происходящего, и лживые нарративы угнетателей оказываются привлекательными для многих. Поэтому нам следует работать над тем, чтобы глушить лживые нарративы, принадлежащие тиранам, популистам и дуракам, и рассказывать истории лучше, чем это делают они, рассказывать такие истории, в которых людям захочется жить.

Сражения разворачиваются не только на полях сражений. Истории, в которых мы живем, —

спорные территории. Быть может, нам следует уподобиться джойсовскому Стивену Дедалу, который стремился выковать в кузнице своей души отсутствующую изначально совесть своей расы. Мы можем уподобиться Орфею и петь, глядя ужасу в лицо, и не прекращать свою песню, пока течение не изменится и не наступят лучшие дни.

Перечитывая этот текст почти через одиннадцать месяцев — те одиннадцать месяцев, на протяжении которых моя собственная жизнь изменилась из-за насилия, порожденного лживыми историями, — я понял, что жизнь, данная мне как второй шанс, не может состоять исключительно из личных радостей. Любовь — она превыше всего, и работа конечно же, но идет война, которую нужно вести сразу на нескольких фронтах: против ревизионизма фанатиков, вознамерившихся переписать историю, что в Нью-Дели, что во Флориде; против сил, цинично стремящихся вычеркнуть из истории Америки два ее изначальных греха — рабовладение, а также угнетение и геноцид коренного населения континента; против фантазий об идеализированном прошлом (когда именно Америка была “великой” в том смысле, в котором ее хотят возродить люди

в красных кепках?); против направленной против себя же самой лжи, из-за которой Британия оказалась вырванной из Европы. Я не смогу сидеть в сторонке, пока гремят эти битвы. И в эту борьбу, в нее тоже, я буду вынужден оставаться включенным.

Однако оставался один спор, в котором мне было неинтересно участвовать далее. Спор, разбивший мою жизнь на куски. Спор о Боге.

Сейчас я изложу здесь, единственный и последний раз, свой взгляд на религию — на любую религию, на все религии, — после чего, как я считаю, с этим будет покончено. Я не верю в "подтверждение того, чего мы не видим".[18] Я не религиозный человек. И происхожу из семьи в основном нерелигиозных людей. (Моя младшая сестра Набила, умершая слишком рано, была исключением. Она веровала искренне.) У меня никогда не было потребности в религиозной вере, чтобы она помогала мне понимать этот мир и взаимодействовать с ним. Однако я осознаю, что для многих людей религия служит нравственным якорем и оказывается жизненно необходимой. Мое личное мнение таково: личные верования

---

[18] Примечания: 18
Евр 11:1.

любого человека касаются исключительно его самого, а никак не других людей. У меня не возникает сложностей с религией, когда она находится на своем месте, в личном пространстве, и не стремится навязывать свои ценности другим людям. Но когда религия оказывается политизированной, даже милитаризированной, тогда она становится общим делом, поскольку способна причинять вред.

Я всегда помню про то, что в эпоху Просвещения во Франции врагом в борьбе за свободу выступало не столько Государство, сколько Церковь. Католическая Церковь с полным арсеналом своего оружия — обвинениями в святотатстве, анафемой, отлучением от церкви, а также с настоящими орудиями пыток в руках Инквизиции — занималась тем, чтобы заключить человеческую мысль в жесткие рамки своих постулатов: *Только так и никак иначе*. А делом писателей и философов Просвещения стало оспаривать ее авторитет и нарушать установленные ею запреты. В этой борьбе были взращены идеи, привезенные Томасом Пейном в Америку и положенные в основу книг “Здравый смысл” и “Американский кризис”, вдохновивших движение за независимость, отцов-основателей США,

а также формирование современной концепции прав человека.

В Индии, где, после омывших весь субконтинент кровью жестоких стычек периода Раздела, происходивших одновременно с получением независимости от британского правления и созданием двух государств, Индии и Пакистана — мусульмане совершали кровавые нападения на индуистов, индуисты на мусульман, и от одного до двух миллионов человек было убито, — другая группа отцов-основателей, Махатма Ганди и Джавахарлал Неру, пришла к выводу, что единственный способ сделать так, чтобы в Индии воцарился мир, — исключить религию из публичной сферы. И потому новая Конституция Индии была полностью секулярной — и словом, и буквой — и оставалась таковой вплоть до настоящего момента, пока нынешняя администрация не вознамерилась подорвать эти устои, дискредитировать этих основателей и создать исключительно религиозное мажоритарное индуистское государство.

Когда верующие считают, что то, во что они верят, нужно силой навязывать тем, кто в это не верит, либо когда они убеждены, что неверующим следует воздержаться от декларации

(как в прямой, так и в юмористической форме) своего неверия, — вот тогда возникают проблемы. Воинственная христианизация в США привела к решению по делу Роу против Уэйда и последующей борьбе против абортов и права женщин делать выбор. Как я уже говорил выше, радикальный индуизм воинственного толка, исповедуемый нынешними лидерами в Индии, привел ко многим межконфессиональным трениям и даже вспышкам насилия. А воинственная исламизация, имеющая место по всему миру, привела непосредственно к террористическим режимам, возглавляемым талибами и аятоллами, к удушению общества в Саудовской Аравии, к нападению с ножом на Нагиба Махфуза, к покушениям на свободу мысли и притеснению женщин во многих исламских государствах и, переходя на личный уровень, к нападению на меня.

Многие люди, придерживающиеся как либеральных, так и консервативных взглядов, чувствуют себя неловко, когда их просят выступить с критикой религии. Однако если мы научимся просто отделять личные религиозные верования от политизированной идеологии, будет гораздо проще видеть вещи такими, каковы

они есть, и высказывать свои мысли, не боясь оскорбить чьи-то чувства. В своей частной жизни ты можешь верить, во что ты хочешь. Однако в исполненном всеми трудностями жизни мире политики и публичности ни одну идею нельзя окружать забором и оберегать от критики.

Все религии связаны с космогоническими историями, повествующими о том, что мир был сотворен одним или несколькими сверхъестественными существами. Это подводит меня к моей собственной космогонической истории, общей для всех религий. Я представляю себе, что очень давно, еще до того, как наши давние предки начали обретать хоть какое-то научное понимание устройства Вселенной, когда они думали, что живут под тарелкой и небесный свет проникает к ним через отверстия в этой тарелке, они научились при помощи аллегорий отвечать на главные экзистенциальные вопросы — откуда здесь взялись мы? откуда взялось это здесь? — и появилось представление о живущих на небесах богах или боге, об Отце-Творце либо о пантеоне ему подобных. А затем, когда наши предки захотели привести в систему представления о том, что хорошо, а что плохо, каково правильное, а каково неправильное поведение, когда они зада-

ли следующий главный вопрос: *Раз уж мы здесь, как же нам следует жить*, в этот момент боги на небесах, боги из Вальхаллы, боги на Кайласе сделались также и моральными судиями (даже несмотря на то, что в пантеистических религиях огромные легионы божеств включали себя и тех, что на самом деле не вели себя хорошо и кого никак нельзя считать блестящими моральными ориентирами). Я долгое время представлял себе такое гипотетическое прошлое как детство человечества, думал, что тем нашим дальним родственникам боги нужны были так же, как детям нужны родители, которые могут объяснить детям, откуда те появились на свет и определить правила и границы, внутри которых им расти. Но наступает время, когда мы становимся взрослыми — либо должны бы были ими стать, ибо для многих людей этот момент так и не наступает. Позволю себе процитировать Первое послание Коринфянам Святого Павла, глава 13, стих 11: “Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое”. И в этот период нам больше становятся не нужны авторитет(ы) и родительские фигуры, не нужны Творец или Творцы, чтобы объяснить

устройство Вселенной и то, как мы сами превратились в тех, кто мы есть. И нам — либо, лучше скажу скромнее, мне — не нужны заповеди, попы и богочеловеки любого рода для того, чтобы обрести собственную мораль. Мы сотворили Бога, чтобы он служил воплощением наших собственных нравственных инстинктов.

Мне нечего к этому добавить, я сказал все. И хотя на меня всегда оказывали большое влияние мусульманская мысль и искусство (к примеру, цикл иллюстраций к “Хамзанаме”, сделанный в эпоху правления могольского императора Акбара; “Мантик ут-Тайр”, или “Беседа птиц”, мистическая эпическая поэма Фарид ад-Дина Аттара, своеобразный исламский аналог “Путешествия пилигрима в небесную страну”, и либеральная философия испано-арабского мыслителя, последователя аристотелевской школы Аверроэса, также известного как ибн Рушд, в честь которого наш отец дал имя нашей семье), я начинаю приходить к пониманию, что в определенном смысле я был подвержен христианскому влиянию в значительно большей степени, чем сам считал. Дело в том, что я люблю музыку. Множество христианских гимнов навсегда застряли в моей голове, и даже сегодня я могу исполнить *“О*

Come, All Ye Faithful" ("О, придите, все верующие!") либо *"Adeste fideles"* ("Придите, верующие!") на латыни. Я с радостью вспоминаю время, которое вся моя школа-интернат в городе Рагби посвящала исполнению "Мессии" Генделя в построенной Уильямом Баттерфилдом из красного кирпича неоготической школьной капелле, где я охотно пел вместе со всеми "Аллилуйя". Я не могу забыть, как прекрасно звучали голоса хора Королевского колледжа, он пел в кембриджской капелле, которую я всегда считал самым красивым во всей Англии зданием, и мелодии разносились по окутанным туманом лужайкам и дворам моего университета. И кроме того, что я только что процитировал Первое послание Коринфянам апостола Павла, я сейчас осознал, что цитировал его и раньше, не ссылаясь на оригинал, в этой самой книге, когда говорил о видении как бы сквозь тусклое стекло (что, на самом деле, является цитатой из Первого послания Коринфянам, глава 13, стих 12). Действительно, отрывки из библии короля Якова, официальной британской Библии, нередко срываются с моего языка. С тех пор как я прочитал комический шедевр П. Г. Вудхауса о Дживсе и Берти "Радость поутру", я с нежностью вспоминаю Псалом 30 ("вечером

водворяется плач, а наутро радость”)[19]. А что делать с Леонардо да Винчи, и с Микеланджело, и со всеми другими? Пару лет назад мы с Элизой были в Сикстинской капелле, рассматривали потолочные фрески, в то время как охранники мрачно твердили: *“Silenzo, no foto”*, чтобы мы сохраняли тишину и не фотографировали. Переполняемый эмоциями от увиденной красоты, я, мятежник-атеист, сумел-таки сделать несколько снимков.

Так что — да, христианское искусство, архитектура, музыка, даже Ветхий Завет проникли глубоко внутрь меня так же, как их мусульманские и индуистские собратья. (“Город Победы” написан под серьезным влиянием индуистских сюжетов, точно так же, как когда-то давно “Дети полуночи”.) Однако ничто из этого не делает меня верующим. Безбожие остается моей постоянной характеристикой. И это не изменится и в жизни, данной мне как второй шанс.

7 января 1938 года в Париже, когда все его главные произведения, за исключением “Больше лает, чем кусает”, еще не были написаны, работающий в то время над романом “Мёрфи”

---

[19] Примечания: 19
В Синодальном переводе Библии это Псалом 29.

Сэмюэл Беккет возвращался домой из кино по авеню Порт-д' Орлеан, где был атакован сутенером по фамилии Прудент, намеревавшимся ограбить его. Беккет оттолкнул Прудента, и тогда тот достал нож и ударил им писателя в грудь, совсем рядом с левым легким и сердцем. Беккета отвезли в ближайшую больницу, Бруссе, у него было сильное кровотечение, и он только чудом выжил; отдельную палату для него оплатил Джеймс Джойс.

Когда я стал читать про этот случай — еще один бессмертный литератор, еще одно нападение с ножом, — то начал ругать себя. Что это такое, клуб? С какой целью я пытаюсь окружить себя этими получившими ранения гигантами? Это глупо. Мне нужно остановиться.

А потом я прочел, что, выписавшись из больницы, Беккет пришел в суд над сутенером и спросил Прудента в зале суда, почему он это сделал. На что сутенер ответил ему: *"Je ne sais pas, monsieur. Je m'excuse"*. Я не знаю, сэр. Прошу прощения. Не то чтобы толковый ответ, но, когда я прочел об этом случае, мне захотелось взглянуть в лицо своему убийце, как это сделал Беккет, и переговорить с ним напрямую.

Насколько мне известно, этот парень до сих

пор заявляет, что невиновен. Если это не изменится, предстоит полномасштабный судебный процесс и, как сказал мне Ник, мой адвокат, мне, возможно, придется прийти туда и лично дать показания в качестве свидетеля.

— Мне придется на самом деле туда идти? — спросил я. — Это нельзя сделать удаленно?

— Если бы на месте прокурора был я, — ответил Ник, — я бы хотел видеть вас в суде. Очень мощно, когда присутствует жертва нападения.

Ладно, подумал я, *я готов это сделать*.

Ник сказал, что позвонит в офис федерального прокурора США, чтобы узнать, как продвигается работа по расследованию покушения на убийство и нападения при отягчающих обстоятельствах, а также федералам, чтобы понять, на каком этапе находится обвинение в терроризме. Да, подумал я. Раз Сэмюэл Беккет смог встретиться в суде со своим сутенером, я, черт возьми, отлично справлюсь тоже.

Я согласился давать по одному интервью, приуроченному к публикации основных переводов “Города Победы”. Я давал эти интервью через *Zoom* — Эдуардо Лаго для *“El Pais”*, Маурицио Молинари для *“La Repubblica”* и Адаму Собожинскому для *“Die Zeit”*. Однако спустя какое-то время

у *“Die Zeit”* появилась идея пригласить Элизу, чтобы она сделала мое фото, которое они могли бы разместить вместе с интервью. Она с радостью согласилась. И вот в воскресный день в начале апреля, в первый по-настоящему солнечный день весны, мы отправились в Центральный парк, к самому водоему, где повсюду были вишни в цвету. Там были бегуны, гуляющие, музыканты, люди, без дела валяющиеся на траве, люди, без дела сидящие в лодках; весь город вышел на улицу и наслаждался прекрасным днем.

Камера привлекает внимание, люди хотели увидеть, на что она нацелена, так что на протяжении всего дня меня очень многие узнавали. Было очень приятно видеть, какую поддержку, даже почтение проявляли те, кто узнал меня. Ньюйоркцы умеют не быть бесцеремонными. Они машут руками, пробегая мимо, широко улыбаются, продолжая следовать по своим делам, показывают поднятые вверх большие пальцы на обеих руках и радостно кричат что-то ободряющее. Они не останавливаются. Они не доставляют тебе беспокойства. Мне нравилось находиться там, в парке, вместе со своими согражданами, радующимися жизни каждый на свой манер. Элиза сфотографировала меня среди цветущих вишен.

Фотография стала очень популярна, сначала в *“Die Zeit”*, потом — ее перепечатало еще несколько газет — повсюду в Европе. Это был снимок, наполненный эмоциями. Любовь была по ту и по эту сторону камеры. Это был снимок любви.

А потом наступила наша годовщина. Майский день, шесть лет прошло после моей встречи с раздвижной стеклянной дверью. Майский день, *m’aidez*, помоги мне, я подаю понятный по всему миру сигнал о помощи. Элизе пришлось спасать меня на той террасе на крыше, когда мы познакомились. А потом она осталась со мной и изменила мою жизнь к лучшему. И вот теперь, прямо сейчас, она спасает меня снова. Мы отправились в одно из наших любимых мест, во французский ресторан в Трайбеке, и подняли по стакану.

Юрист Ник (молодой, динамичный, умный и по-настоящему хорошо знающий свое дело) решил, что А. может изменить свою позицию, признав, что “виновен”, чтобы попытаться заключить некую сделку со следствием.

Что ж, реальность кусается, подумал я. Быть может, он наконец поймет, что у его преступления была тысяча с плюсом свидетелей.

— Вот что странно, — сказал Ник. — Как правило, когда возбуждают дело на федеральном

уровне, дело на уровне штата закрывают. Но похоже, что в этом случае два дела разрабатывают параллельно, и на федеральном уровне, и в штате.

— И он сможет признать себя виновным по обоим обвинениям?

— Я уверен, что его юристы захотят общего решения. По обоим делам сразу. Кое-что мне нужно уточнить. Но в целом картина такова: обвинения на уровне штата нам известны — покушение на убийство и нападение при отягчающих обстоятельствах. Похоже, что обвинением на федеральном уровне будет терроризм — оказание материальной поддержки известной террористической организации, ну или что-то в подобном роде. Он признает себя виновным во всем, ему будет вынесен приговор в обоих судах, и он будет отбывать наказание по обоим приговорам, один срок за другим.

— И каковы могут быть эти сроки?

— Точно сказать не могу. Но очень приблизительно, если все будет, как я сказал, ему придется провести в тюрьме лет тридцать-сорок.

Я подумал: через сорок лет мне будет сто шестнадцать. Так что, наверное, это подходит.

Я спросил:

— А что насчет условно-досрочного освобождения? Ему могут сократить срок за хорошее поведение? Этот парень очень молод. Я не хочу, чтобы он рыскал по улицам и искал меня, когда ему будет сорок с небольшим.

Ник ответил:

— По приговорам, вынесенным на федеральном уровне, условно-досрочного освобождения не бывает. Он должен отсидеть весь срок. Самое большее, на что он может рассчитывать, — уменьшение срока на пятнадцать-двадцать процентов за хорошее поведение. Так что, если его приговорят к двадцати годам, он точно отсидит семнадцать. И если он получит еще двадцать в суде штата, то, возможно, еще семнадцать. Трудно предположить точно, поскольку у судьи при вынесении приговора всегда есть пространство для маневра.

— Я понял. Трудно радоваться, когда все настолько неопределенно, и мы даже не знаем, изменит ли он свою позицию, признает ли вину. Я только хочу сказать, что не слышал от него ни слова сожаления или раскаяния — ни разу за восемь месяцев, ни от него, ни через его юристов. Это значит — в моей книге — что он опасный человек.

— Это можно понять.

— А что будет, если он заключит сделку со следствием, которая мне не понравится?

— Ну, вы не обладаете правом вето. Вы, будучи потерпевшим, имеете право знать, что обсуждается и какой вариант является предпочтительным и будет согласован, и конечно же у вас есть право высказывать свое мнение по этому поводу, настолько категорично, насколько вы посчитаете нужным.

— Значит, это позволит нам оказывать на происходящее какое-то влияние.

— Возможно. Незначительное.

— А где все это будет происходить? И когда?

— Дело на уровне штата будет рассматриваться в окружном суде Чатокуа. На федеральном уровне — в Баффало.

— Могут оба дела рассматриваться примерно в одно и то же время?

— Нет. Между двумя разными судами будет перерыв. И для каждого из случаев будет еще перерыв между признанием вины и вынесением приговора.

— Насколько долгий перерыв?

— Это может продлиться много месяцев. Все не может закончиться раньше, чем в середине

следующего года.

— Господи, как же медленно.

Закончив разговор по телефону, я подумал: *На самом деле и для меня может наступить минута Сэмюэла Беккета. Может статься, придет и такой день*.

Гала-ужин ПЕН-клуба 2023 года, на котором мне должны были вручить награду “За мужество”, имел для меня особое значение. Я уже давно и глубоко ассоциирую себя с американским ПЕН-клубом. Я — его бывший президент и соосновательорганизуемого ПЕН-клубом фестиваля “Голоса мира”, уже несколько десятилетий мы вместе участвуем в битве за добро. К сожалению, порой эта борьба не велась хорошо, а сводилась лишь к ссорам. Я не могу забыть, как восемь лет назад, в апреле 2015 года, когда ту же самую награду за мужество было предложено присудить убитому карикатуристу из французского сатирического журнала “Шарли Эбдо”, до обидного большое число известных писателей выступило против, поскольку этот журнал периодически со злой иронией высказывался относительно ислама. И хотя он гораздо чаще высмеивал Римскую католическую церковь и Израиль и публиковал едкую сатиру на правительство Франции, имен-

но эти публикации бонзы от литературы сочли исламофобскими и державническими, даже при том, что некоторые из них признавались, что ни разу в жизни не видели ни одного номера “Шарли” и вообще не читают по-французски. Это была очень жесткая ссора. Дружбы рушились, я тоже прекратил отношения с некоторыми друзьями, поскольку считал — я и сейчас так считаю, — что отказ встать плечом к плечу с нашими коллегами, которых уничтожают радикально настроенные исламские террористы за то, что они создают картинки, — крайне неоднозначный с точки зрения морали поступок. Я не могу сдержать свое любопытство — очень уж интересно, что эта клика настроенных против “Шарли” думает по поводу того, что награду присудили мне. Вероятно, это также не привело их в восторг. Не могу утверждать. Ни один из них не общался со мной на протяжении нескольких лет. И насколько мне известно, ни один из них никак не прокомментировал ни нападение на меня, ни награду ПЕН-клуба.

Все это создавало несколько пикантный фон для данного мероприятия клуба, однако не поглощало все мое внимание. Это был вечер, исполненный радости, ведь я наконец-то воссо-

единился с миром писателей, снова находился в окружении тех, кого с большей уверенностью, чем кого-либо еще, могу называть “мои люди”. Я был бесконечно счастлив находиться там, в Музее естественной истории, под чучелом кита, в окружении друзей. Это был еще один важный шаг обратно в мир — на данный момент самый важный.

В своей речи, произнесенной на гала-ужине, я отдал дань уважения тем, кто пришел мне на помощь в Чатокуа.

— В тот день я оказался мишенью, а они — героями.

Я говорил о том, какое важное значение приобретает ПЕН-клуб сегодня, “когда книги и библиотеки точно так же, как и писатели, оказываются в блокаде”. Я подытожил свои соображения — к своему собственному удивлению — ничем иным, как старым марксистским лозунгом: “Террор не должен нас пугать. Насилие не должно нас останавливать. *La lute continue*. Борьба продолжается”.

(Нет, Филип, обратился я про себя к великому мистеру Роту. Погодите клеить свой стикер.)

Гала-ужин ПЕН-клуба был моментом наивысшего оптимизма, и мы пребывали в приподнятом

состоянии духа, однако новости, поступавшие от наших друзей, совсем не радовали. Мартина кремировали во Флориде, и Изабель не знала, что ей делать дальше. У Ханифа восстановилась некоторая подвижность в ногах, но не в руках. Он страстно желал вернуться в Англию, однако в физиотерапевтическом центре, куда он хотел попасть, не было мест. Пол не прошел тест на определение емкости легких, и его нельзя было оперировать, чтобы удалить несколько отделов больного легкого. Было почти что неприлично сохранять оптимизм.

Несколько дней спустя я узнал, что сделка А. со следствием вполне вероятна. И гипотетический срок тюремного заключения длиной в тридцать или сорок лет не был таким уж нереалистичным. Однако ни в чем не было определенности.

Мне оставалось только ждать.

8. Развязка?

И я ждал. Весна сменилась летом, а лето 2023 года было таким, что казалось, будто вся Земля объята огнем. Полыхавшие в Канаде пожары окрасили нью-йоркское небо в оранжевый цвет и сделали воздух опасным для дыхания. В Лас-Вегасе были побиты климатические рекорды, от разлитого в воздухе Долины Смерти жара люди начали умирать. Мне вспомнился научно-фантастический фильм 1961 года “День, когда загорелась Земля”, в котором из-за деятельности людей Земля сошла со своей орбиты и начала приближаться к Солнцу. Вчера малобюджетный фильм, сегодня заголовки новостей. Земля в неизвестных водах, гласил заголовок BBC, были и репортажи о том, что рыба отваривается прямо в море.

Ожидание есть осмысление, а глубокое осмысление часто приводит к перемене мнения. Моя собственная ярость отошла на второй план. Она казалась банальной на фоне ярости планеты. С момента нападения прошел год, и в эту нежеланную годовщину я осознал, что со мной произошли три вещи, которые помогли мне пройти путь к

принятию того, что со мной случилось. Первая из них — ход времени. Время не способно залечить все раны, но оно уняло боль, и ночные кошмары прекратились. Вторая — работа с психотерапевтом. Сеансы с моим врачом, доктором Джастином Ричардсоном, помогли мне намного больше, чем я способен выразить словами. А третьей вещью стало написание этой книги. Вся эта триада не привела меня к "развязке", что бы это ни значило, но все это значило, что покушение давило на меня меньшим грузом, чем раньше. И в результате я уже не был уверен, что испытываю желание или потребность увидеть А. лицом к лицу и открыто обратиться к нему в суде. "Минута Сэмюэла Беккета" более не казалась мне важной.

Как бы то ни было, закон работал до боли медленно. Прошло несколько недель, а я так и не имел четкого представления, когда дело поступит в суд — федеральный или штата. В конце концов мне сказали, что "слушания Хантли" — досудебные слушания — запланированы на август. Такие слушания проводятся, чтобы определить, собирается ли суд запретить обвинению использовать в ходе судебного разбирательства отдельные заявления, сделанные обвиняемым или обвиняемой во время пребывания под арестом. Возможно,

в этом случае адвокат А., государственный защитник, хотел запретить использовать его (в высшей степени самоинкриминирующее) интервью, которое он дал “Нью-Йорк пост”. Однако адвокат предпочел не вызывать на эти слушания никаких свидетелей и не представлять никаких доказательств со стороны своего подзащитного. Показания давал инспектор Закари Колбин, офицер, арестовавший А. В местной газете написали, что А. рассказал Колбину, что рядом со сценой у него была спрятана сумка. Колбин спросил, не было ли в этой сумке бомбы, на что А. ответил, что не было — внутри были только ножи. Сумку нашли и исследовали. Подтвердилось, что ножи были единственным обнаруженным видом оружия. Так что же, он принес с собой целый набор ножей? Это казалось крайне странным. Довольно рискованно пытаться пронести в зал даже одну единицу оружия. А пронося несколько, рискуешь еще сильнее. Он был уверен, что его сумку не досмотрят? И сколько у него было ножей? Он что, планировал пользоваться не одним ножом? Или не мог определиться, какой именно выбрать? Был ли этот выбор импульсивным? Или просто схватил случайно, неважно-какой-именно? А может, он хотел раздать их публике и предло-

жить присоединиться? У меня не было ответов на эти вопросы. Как бы то ни было, никаких решений в пользу обвиняемого вынесено не было. Прокуроры заявили, что переходят к судебному разбирательству, которое состоится в неопределенную пока дату в 2024 году.

Я спросил Ника:

— Означает ли это, что в результате никакой сделки со следствием не будет и вместо этого пройдет полномасштабное судебное разбирательство, на котором мне придется выступать?

— Возможно, что нет, — предположил Ник, — вероятнее всего, А. все же примет то, какова его ситуация на самом деле, и признает себя виновным в обоих судах.

Ладно, подумал я. Конечно, я приду и дам показания, если это будет нужно. Однако теперь это представляется мне моим гражданским долгом, а не желанием удовлетворить свою потребность.

Почему же произошла эта перемена в моем сознании? Почему “Минута Сэмюэла Беккета” представлялась теперь не столь необходимой, как еще недавно? Бесспорно, по меньшей мере, сама идея о том, что жертва покушения на убийство — я — может оказаться лицом к лицу с тем, кто пытался его убить, в приятной степени драматич-

на, верно? Бесспорно, я мог обдумывать, что бы такого стоящего сказать своему несостоявшемуся убийце, да? Не нашел ли чистейший сюрреализм этой сцены отклика в душе у автора, создавшего множество сюрреалистических сцен? Может ли быть, что это не пойдет мне на пользу?

Ответ на эти вопросы был вполне определенным. Чем больше шагов делал я назад, в сторону "обыкновенной", "реальной" жизни, тем менее интересным представлялся мне этот "необыкновенный", "нереальный" эпизод. То, что заботило меня теперь, — *продолжение*, написание новой главы в книге жизни. Нападение представлялось пятном красных чернил, замаравшим всю предыдущую страницу. Страницу можно перевернуть и продолжить писать дальше.

Я решил, что, если в конце концов меня обяжут явиться в суд и дать показания, я скажу ему что-то в этом роде:

И вот мы стоим здесь: человек, который не смог убить безоружного семидесятипятилетнего писателя, и уже семидесятишестилетний писатель, которого не смогли убить. И некоторым образом — к своему удивлению — я нахожу, что не так уж много хотел бы тебе сказать. Наши жизни пересеклись на мгновение и снова разделились.

Моя сделалась лучше после того дня, а твоя ухудшилась. Ты сделал неверную ставку и проиграл. Удача оказалась на моей стороне.

Люди, которые думали, что хорошо тебя знают, говорили о тебе как о человеке, который никогда никому не причинит вреда. Но они не знали тебя настолько хорошо, как думали. Ты проявил себя здесь как потенциальный убийца, который оказался некомпетентен и не справился со своим делом. Ты обманул этих людей по поводу своей истинной природы, но больше ты уже никого не обманешь. И теперь ты стоишь перед всем миром в чем мать родила.

Может случиться, что за те десятки лет, что тебе предстоит провести в заточении, ты овладеешь саморефлексией и поймешь, что совершил зло. Но знаешь что? Мне это все равно. Я думаю, что я пришел в этот суд для того, чтобы сказать тебе именно это. Мне нет дела до тебя, нет дела до идеологии, которую ты, как ты сам считаешь, представляешь и которую ты представил так скверно. У меня есть моя жизнь, есть моя работа и есть люди, которые меня любят. Вот вещи, которые меня заботят.

Твое вторжение в мою жизнь было насильственным и принесло вред, однако теперь моя

жизнь продолжается снова, и это жизнь, наполненная любовью. Мне неизвестно, чем будут наполнены твои дни в тюрьме, но я практически уверен, что не любовью. И если когда-нибудь в будущем ко мне придет мысль о тебе — если такое вообще случится, — то я лишь презрительно пожму плечами. Я не прощаю тебя. Я не *не* прощаю тебя. Я рад, что проживаю свою жизнь, а не твою. И моя жизнь будет продолжаться дальше.

Я не могу перестать думать о своем утраченном глазе. Каким бы спокойным я себя ни чувствовал в последнее время, с этим я примириться не могу. Беседуя с Дэвидом Ремником из “Нью-Йоркера”, я рассказал, что буду писать эту книгу от первого лица, как раньше написал воспоминания-автобиографию “Джозеф Антон”, поскольку, когда некто наносит тебе пятнадцать ножевых ранений, это ощущается исключительно от первого лица. Это история, которая говорит “Я”. А теперь, сказал я себе, это еще и история, которая говорит “глаз”. В моих мыслях всплывают другие истории о глазах. Я вспоминаю внушающего ужас Песочного человека Э. Т. А. Гофмана (он довольно сильно отличается от основанного на нем персонажа Сон из комиксов Нила Геймана), который кидает людям в лицо горячий песок,

после чего похищает их вытекающие глаза прямо из глазниц. Читая Гофмана, я понял, что был не единственным человеком, для которого слепота оказывается самой страшной вещью на свете.

В романе Жозе Сарамаго “Слепота” эпидемия потери зрения внезапно поражает безымянный город, одновременно с этим рушится уклад общественной жизни, начинается кризис, вслед за которым приходят насилие, голод, болезни и, наконец, террор. Я читал его несколько лет назад и понимал, что это выдающееся произведение, однако был разочарован его концом: массовая потеря зрения завершается так же внезапно и неожиданно, как началась, и все люди снова прозревают. У меня было такое же впечатление и от финала другого прославленного романа о массовом заболевании, “Чумы” Альбера Камю, в котором давшее название произведению заболевание тоже просто сходит на нет. В своем новом одноглазом состоянии я нахожу такие финалы еще менее подходящими, чем думал раньше. Те из нас, кто на самом деле слеп — или, как в моем случае, слеп наполовину, — отлично знают, что слепота не может просто взять и пройти.

А еще был Один, который пожертвовал одним из своих глаз, чтобы ему было позволено

испить из источника, воды которого даровали испившему их божественную мудрость и полное всеведение. А еще был циклоп Полифем, ослепленный Одиссеем…

Я перечитывал все эти истории о глазах с надеждой, как мне кажется, получить утешение. Они дали мне его совсем немного. Мне не была дарована божественная мудрость, и поскольку я люблю Капри, остров Циклопа, мне трудно связывать его с одноглазым гигантом-людоедом. Даже если потеря глаза нас с ним объединяет.

Однако я нашел источник для утешения и даже вдохновения, я нашел его не в художественной литературе, а в реальной истории наваба Патауди и игры в крикет. Все поклонники крикета — и конечно же все без исключения индийские почитатели этой игры — знают Мансура Али Хана, наваба, то есть правителя крошечного княжеского штата Патауди, прославившегося как “Тигр” или, по большей части в Англии, как “Нооб”, одну из самых ярких звезд этого спорта, игрока, по-настоящему талантливо владевшего битой, капитана индийской сборной и безгранично гламурного персонажа, мужа одной из кинодив Шармилы Тагор и отца еще двух звезд экрана — Саифа и Сохи Али Хан. Однако за несколько ме-

сяцев до начала своей блестящей международной спортивной карьеры, когда ему едва исполнилось двадцать, он попал в автокатастрофу и потерял способность видеть одним глазом. Было сложно поверить, что бьющий игрок с одним глазом, даже обладая выдающимися талантами, сможет отбивать подачи таких внушающих трепет боулеров, как Уэс Холл и Чарли Гриффитс из команды Вест-Индии, главного соперника индийской команды. Однако он играл, и играл прекрасно, и даже был назначен капитаном — на тот момент он стал самым молодым игроком, ставшим капитаном какой-либо крикетной сборной, — вот так началась его блестящая карьера. Я решил, что Тигр станет для меня ролевой моделью. Если он мог справляться с ужасающей быстротой Холла и Гриффитса, я должен научиться справляться с тем, чтобы налить в стакан воды, не пролив ее, переходить через улицу, не сталкиваясь с другими пешеходами, и в целом успешно справляться с тем, чтобы быть активным человеком с одним глазом в мире людей с двумя глазами.

Кто я? Тот же человек, каким был до 11 августа, или я стал другим? В некоторых вещах я определенно поменялся. Тот, каким я был до 11 августа, никогда не выбрал бы себе в качестве ролевой

модели спортсмена, сколь одаренным тот бы ни был. Но дело еще в том, что другие люди также замечают, что я стал другим. Они задают мне вопрос: как то, что случилось, повлияет на ваши произведения? Один из интересующихся сравнил меня с Ницше — именно с ним из всего человечества! — поскольку, как заявил этот человек, когда Ницше начал страдать очень сильной близорукостью, у него изменилась манера письма. Предположительно моя изменится тоже, как с эстетической точки зрения, так и в части порядка изложения мыслей. Когда мне было высказано это предположение, я отреагировал однозначно. Я сказал:

— Не думаю, что это повлияло, или должно было повлиять, или еще вообще хоть как-то повлияет на мою манеру письма. Стиль, форма и язык любого эпистолярного произведения, вне зависимости от того, художественное оно или нет, определяются требованиями, которые предъявляет к ним само это произведение, и могут отличаться от книги к книге, от барокко до эротики… Я не считаю, что проявления насилия вроде того, что пережил я, способны как-то влиять на искусство.

Когда я говорил это, то вспомнил кое-что еще,

что частенько говорил до 11 августа. Я предлагал людям:

— Представьте себе, будто вы ничего обо мне не знаете, что вы, может быть, прилетели с другой планеты и вам дали прочесть мои книги, а вы никогда прежде не слышали моего имени и ничего не знаете ни о моей жизни, ни о нападках на “Сатанинские стихи” в 1989 году. И тогда, если вы прочитаете мои книги в хронологическом порядке, я не думаю, что у вас может возникнуть мысль: *Что-то ужасное произошло в жизни этого писателя в* 1989 *году*. Книги идут своей собственной дорогой.

Я вспоминаю, что в то время думал, что существует два пути, по которым фетва может пустить мою жизнь под откос, уничтожить меня как писателя: я могу начать писать “книги страха” либо “книги мести”. Оба эти варианта уничтожат мою индивидуальность и мою независимость и оставят от меня лишь то, что получилось в результате агрессии. Агрессия сделает меня своею частью, и я уже больше не буду собой. И потому единственный верный путь, единственный способ сохранить себя как писателя состоял в том, чтобы прийти к осознанию того пути в литературе, по которому я шел, принять дорогу, которую

выбрал, и продолжать двигаться по ней дальше. Для этого требовалось усилие воли. И вот сейчас мне снова задают это вопрос. Кто я? И могу ли оставаться собой?

Многие писатели осознавали разницу между своим публичным и личным естеством. Очень давно в Берлине мы с Гюнтером Грассом встречались в кафе на Унтер-ден-Линден, и он сказал мне:

— Иногда мне кажется, что существуют два человека, Гюнтер и Грасс. Гюнтер — это муж моей жены, отец моих детей, друг моих друзей, он живет в моем доме. А Грасс — это тот, кто находится где-то там в мире, из-за него начинается шум, начинаются неприятности.

Еще у Хорхе Луиса Борхеса есть знаменитый текст “Борхес и я”, в котором говорится: “События — удел его, Борхеса… Мне суждено остаться Борхесом, а не мной (если я вообще есть), но я куда реже узнаю себя в его книгах, чем во многих других или в самозабвенных переборах гитары… Я не знаю, кто из нас двоих пишет эту страницу”[20]. А с Грэмом Грином был крайний, но схожий случай — Грэм Грин обнаружил, что у него есть альтер

---

[20] Примечания: 20
Перевод М. Былинкиной.

эго, фальшивая сущность, которая вращается в иных социальных кругах и заявляет, что он и есть настоящий Грин. Он получал письма от женщин, в которых они описывали его с ними романтические встречи, он видел фотографии в газетах, на которых другой Грин был изображен в тех местах, где настоящего Грина не было в момент, когда были сделаны снимки. Однажды в Чили его обвинили в том, что он сам и есть ненастоящий Грэм Грин. Они никогда не встречались, настоящий и тот, другой, но рассказывают, что однажды, заселяясь в гостиницу, Грин узнал, что другой Грэм Грин только что из этой гостиницы съехал.

Начиная с 1989 года я постоянно переживаю из-за других Рушди, распространившихся по миру. И я тоже два в одном — и “Салман”, и “Рушди” одновременно. Существует демон по имени Рушди, его создали — я вынужден это сказать — многие мусульмане; это тот самый Рушди, про которого А. поверил, что хочет его убить. Существует высокомерный, эгоистичный Рушди, которого давным-давно создали британские таблоиды (в настоящее время он появляется лишь на заднем плане). Существует Рушди, охочий до вечеринок. И вот теперь, после 12 августа, суще-

ствует и изображаемый с большей симпатией “хороший Рушди” — почти что мученик, икона свободы слова, — однако даже у него есть общие черты со всеми упомянутыми “плохими Рушди”: он имеет крайне мало общего с Салманом, который сидит у себя дома, с мужем своей жены, с отцом своих сыновей, с другом своих друзей, с тем, кто пытается пережить то, что с ним произошло, и по-прежнему пытается писать свои книги. И все они отвлекают внимание от самих книг. В какой-то степени все они делают *ненужным* их прочтение. И это, как я считаю, самая страшная травма, которую я пережил, — как до 12 августа, так и благодаря 12 августа. Я сделался странным уродцем, более известным не из-за своих книг, а из-за приключившихся в его жизни несчастий. Так что верный ответ на вопрос: “Как это повлияет на ваши произведения?”, звучит так: Оно повлияет на то, как будут читать мои произведения. Или не будут их читать. Или и то, и другое.

Как бы то ни было, мне следует принять, что я — это два в одном — и “Салман”, и “Рушди”, — дабы сохранять оптимизм, необходимый, чтобы создавать произведения, и надеяться на то, что мои романы будут по-прежнему находить своих читателей (принимая как данность, что я буду

по-прежнему находить свои романы) и, помимо этого, сохранять готовность продолжать борьбу за то, ради чего следует бороться. Если судьба превратила меня в невинную одухотворенную либеральными идеями куклу Барби, в Рушди Свободы Слова, я принимаю такую судьбу. Быть может, это то, что означает для меня слово “развязка”: принять реальность и двигаться внутри этой реальности дальше.

Я немедленно среагировал на убийства сотрудников “Шарли Эбдо”, написав следующие строки: “Религия, древняя форма нерационального, в сочетании с современным оружием начинает представлять реальную угрозу нашим свободам. Религиозный тоталитаризм привел к смертельной мутации, произошедшей в самом сердце ислама, трагические последствия которой мы наблюдаем сегодня в Париже. Я принимаю сторону «Шарли Эбдо», как должны сделать все мы, и готов стать на защиту искусства сатиры, которое всегда было силой, сражавшейся за свободу и против тирании, бесчестья и глупости. «Уважение к религии» стало кодовым сочетанием, под которым скрывается «страх перед религией». В отношении религий, как и всех прочих идей, допустимы критика, сатира и — да — наше бес-

страшное неуважение". В случае с нападением, совершенным на меня А., я бы заменил слово "оружие" на "технологии", поскольку в ноже нет ничего современного, а он — А. — полностью является продуктом технологий нашего века информационных технологий, который правильнее было бы назвать веком "дезинформационных технологий". Гиганты-производители массового мышления — *YouTube*, Фейсбук, Твиттер — и исполненные насилия компьютерные игры — вот его учителя. В сочетании с тем, что оказалось незрелой личностью, нашедшей в массовом сознании радикального ислама столь необходимую ему структуру идентичности, они произвели на свет того, кто стал убийцей на деле.

Джон Локк писал: "Я всегда думал, что поступки человека — лучшие переводчики его мыслей". Нападение с ножом рассказало нам все, что нам нужно было знать о внутренней жизни А. Пусть суд состоится, когда состоится, я буду давать на нем показания, если это потребуется, и приговор будет таким, каким будет. Это больше не кажется мне столь важным, как казалось раньше.

Через тринадцать месяцев после нападения я вернулся в Чатокуа. Я решил, что я должен сделать это для себя: вернуться на место преступ-

ления и ощутить, что снова стою там на своих ногах, здоровый и сильный — или уж по крайней мере относительно здоровый и больше не слабый, — стою на том месте, где упал и только чудом не умер; на том месте, где Смерть нацелилась на меня, но (самую капельку) промахнулась. Я надеялся, что это станет обрядом преодоления и поможет мне оставить тот ужасный день позади.

— Я еду с тобой, — заявила Элиза, — на этот раз я не позволю тебе отправиться в эту поездку одному.

Чем ближе был день отъезда, тем чаще перспектива этой поездки казалась мне тяжким грузом. Мое сознание возвращалось к тому дню, и меня захлестывали эмоции, с которыми, как я думал, я научился справляться. В других ситуациях они не были такими сильными. Есть вероятность, подумал я, что, вновь оказавшись в амфитеатре, я отреагирую на это несколько сильнее, чем простым пожатием плеч: *Да, это случилось, но это было тогда, а не сейчас. Не на что тут смотреть. Пошли дальше*. Я спросил у Элизы, волнуется ли она по поводу приближающейся поездки.

— Конечно, — ответила она, — это естественно.

Я признался ей, что на самом деле не знаю, какой эффект окажет на меня возвращение в

это место, повлияет ли оно на меня сильно, или почти никак, или как-то средне.

— У меня перепады настроения, — сказал я, — возможно, это тоже естественно.

— Мы не можем этого знать, — ответила она, — можем только поехать и посмотреть.

Я переговорил с Шэннон Рознер, старшим вице-президентом Института, и сообщил ей о своем желании приехать, на что она выразила понимание и готовность помочь. Ближайшей подходящей для всех нас датой странным образом оказалось 11 сентября, двадцать вторая годовщина другой, гораздо более масштабной, террористической атаки. Моя история была и продолжает казаться крохотной по сравнению с тем ужасом. Однако и она — составная часть одной общей истории, истории насилия, совершаемого террористами от религии. 11 сентября научило нас, что самолет тоже может быть ножом. Те самолеты — рейс 11 Американских авиалиний и рейс 175 Объединенных авиалиний, — словно смертоносные лезвия, врезались в тела намеченных для них целей, башен-близнецов, и тысячи людей внутри этих убитых гигантов оказались менее удачливы, чем я.

Мне вспоминается комикс Дунсбери, в котором

один из персонажей говорит другому: “Знаешь, я очень скучаю по 10 сентября”. Эта фраза, такая пронзительная, словно сказанная нашей утраченной невинностью, миром, который мы потеряли, сильно зацепила меня тогда, и теперь я поймал себя на мысли: “Знаешь, я очень скучаю по 11 августа”. Я очень хочу снова быть тем беззаботным парнем, что любуется полной луной над озером, писателем, у которого скоро выйдет новый роман, мужчиной, который любит. Быть может, мое возвращение туда сможет возродить все это? Это не “развязка”, а глубинная и сильная тоска по безвозвратно ушедшему прошлому, тому прошлому, от которого меня отсек нож, принесший боль, от которой нельзя излечиться? Быть может, я направляюсь в Чатокуа, чтобы обрести знание, объединяющее все человечество, — невыносимое знание о том, что вчера никогда не вернется.

Мы не можем этого знать. Можем только поехать и посмотреть.

11 сентября наш рейс в пять часов утра отменили. Элиза и я, мы оба много думали о предстоящей поездке и пытались подготовиться к ней, и это стало сильным эмоциональным ударом. Однако за прошедший год мы выдержали гораздо бо-

лее сильные удары и выстояли. Мы перенесли поездку на неделю, и оказалось, что новая дата некоторым образом помогает нам обоим меньше переживать.

Незадолго до отъезда я узнал, что А. отказался от сделки со следствием, чем крайне всех озадачил. Так что, скорее всего, будет два судебных разбирательства, на уровне штата и на федеральном уровне. Возможно, он не способен к рациональному мышлению, ведь в его случае все остается по-прежнему: более тысячи человек видело, как он совершает то, в совершении чего он называет себя невиновным. Возможно, он рассчитывает, что его признают недееспособным? Или мечтает о паре великих дней, когда он предстанет перед судом, разыгрывая перед находящейся очень далеко отсюда публикой героя-радикала? Возможно, он снова передумает. *Делай что хочешь*, подумал я. *Ты идешь своим путем, а я своим.*

К понедельнику 18 сентября прошел один год, один месяц и одна неделя после моей последней поездки в Чатокуа. Мы оба проснулись, ощущая спокойствие и “нормальность”. Я больше беспокоился за Элизу, чем за себя. Она никогда не была в Чатокуа, так что ей предстоит впервые увидеть тот амфитеатр, и я знал, что это может пробудить

в ней сильные эмоции. Однако она настаивала, что идея поехать туда — отличная идея.

— Со мной все будет в порядке, — сказала она, — на самом деле я больше беспокоюсь за тебя.

Во время перелета мне пришло в голову выяснить, где находится окружная тюрьма Чатокуа, в которой содержат А. Если она не слишком далеко от места, куда мы направляемся, от Института Чатокуа, то я бы хотел поехать туда и постоять перед ней, просто чтобы получить представление о том, как это выглядит. Я выяснил, что путь между этими точками займет совсем мало времени, менее десяти минут.

— Давай сделаем это, — сказал я Элизе.

Она немного поколебалась, но потом согласилась.

Погода в тот день была на удивление приятной. Утром в Нью-Йорке шел сильный дождь, но в Баффало, когда мы прилетели и до самого конца нашей поездки, светило яркое солнце; день оказался прекрасным, ровно таким же, какими были 11 и 12 августа прошлого года. Словно Вселенная решила воссоздать условия моей предыдущей поездки сюда для нашей пользы. Если бы в Чатокуа был ветреный дождливый день, мы ощущали бы себя по-другому — более мрачными, глубже по-

груженными в проблему, менее расслабленными. Но нас встретило голубое небо, продолжившее и далее поддерживать наш дух. (Позднее, когда мы ехали обратно в аэропорт, небо затянуло тучами и начало моросить. Возникло ощущение, словно мы были в театре — словно бы занавес в этот день подняли специально для нас, когда мы прибыли, и опустили, когда мы уезжали.)

Мы проезжали мимо идиллических маленьких городков и деревень, чью прелесть портило только несколько табличек с призывами голосовать за Трампа. Мимо нас проплывали таблички с названиями населенных пунктов. Сенека, город, построенный на земле, где изначально жил народ сенека, входивший в Конфедерацию ирокезов. Ангола — это название было дано этому населенному пункту в XIX веке, поскольку его население поддерживало миссионерскую деятельность в Африке. Эдем, “райский сад”. Данкирк, получивший свое название в честь французской коммуны Дюнкерк до начала Второй мировой войны. И мое любимое — Фредония. Как расскажет вам любой любитель кинематографа, *Фри*дония, в названии которой заключено слово “свобода”, — это вымышленная страна, правителем которой становится Граучо Маркс в классическом филь-

ме цикла о братьях Маркс 1933 года “Утиный суп”. Я вспомнил полные шуточек диалоги из этого фильма, и на моем лице появилась улыбка. В такой момент хорошо иметь у себя в голове немного придури.

> Но почему, даже четырехлетний ребенок способен понять этот отчет. Так сбегай и найди мне четырехлетнего ребенка. Что-то я не врубаюсь, о чем это все.

Но вот мы проехали мимо дорожного указателя с другим названием. *Эри.* 20 *миль в направлении Пенсильвании.* Оно принесло яркие воспоминания о больнице Хэмот и придало утру мрачноватую окраску.

Элиза только намного позже — мы уже вернулись тогда домой, в Нью-Йорк — рассказала мне, что в самолете ее одолевали болезненные вспышки воспоминаний о том, как она летела в Эри в день нападения и в ушах у нее звучали страшные слова. *Непохоже, что ему удастся выжить*. Ей пришлось усилием воли выбросить из своих мыслей эти воспоминания и сосредоточиться на настоящем дне и на том, что он может для нас обоих значить.

Тюрьма представляла собой небольшой комплекс невзрачных построек из красного кирпича. Слева располагалось здание полиции. Здание, где в камерах содержали заключенных, находилось справа за колючей проволокой. Я сфотографировал его и отправил снимок сообщением Самин, которая ответила: “Выглядит так обыденно”. Да, именно так. Но на мне увиденное сказалось неожиданным образом. Я стоял и смотрел на это здание, пытаясь представить себе, что А. в своей черно-белой тюремной робе где-то здесь, и чувствовал себя при этом до глупости счастливым, мне даже, как ни абсурдно, хотелось танцевать.

— Прекрати, — осадила меня Элиза, — я хочу сфотографировать тебя на этом фоне, и ты не должен хихикать и скакать.

Мы не пробыли там долго. Нам это было не нужно. Но я был рад, что увидел место, в котором мой потенциальный убийца — рассчитываю на это и надеюсь — должен будет провести значительный отрезок своей жизни.

В лучах солнечного света Институт Чатокуа выглядел великолепно. Было очень спокойно. Сезон завершился, и около десяти тысяч человек, приезжавших сюда на летние курсы, уехали, остались только примерно четыре сотни постоян-

ных жителей. На дальнем плане сверкали воды озера Чатокуа, деревья стояли еще зеленые, хотя тут и там были тронуты золотом. Я видел место, на котором стоял ночью, когда фотографировал полную луну.

Нас приветствовали Шэннон Рознер и Майкл Хилл, президент Института. Я сразу же понял, что для них — как и для нас — это был чрезвычайно эмоциональный момент.

— Я думаю о вас каждый божий день с тех пор, как это случилось, — сказал Майкл, и его голос дрогнул, когда он заканчивал фразу, — мне очень, очень жаль.

— Я рад быть здесь в более-менее целом состоянии, не по кускам, — ответил я.

— Здесь так красиво, — сказала Элиза.

— Я много думал о том, как силен диссонанс между красотой и покоем этого места и отвратительной жестокостью случившегося, — сказал я. — Каким-то образом величественность декораций делает преступление еще более шокирующим.

— Именно так, — ответил Майкл, — и я так рад видеть вас в такой прекрасной форме. Мы все очень рады.

И вот время пришло. Мы зашли в амфитеатр че-

рез ту же ведущую на сцену дверь, через которую я заходил год назад, и ненадолго задержались за кулисами, где Генри Рис познакомил меня со своей мамой и передал мне чек — тот самый залитый кровью чек, что хранится у следствия в качестве улики. Я видел, что Элизу захлестывают эмоции. Со мной происходило то же. Но мы находились здесь, чтобы сделать то, ради чего мы приехали. Двери раскрылись, и мы вышли на сцену и уставились на пустые ряды кресел, которые пялились на нас в ответ.

Сцена также была пуста, большое возвышение из отполированных досок. Я попытался воссоздать тот момент для Элизы. Было два стула, для Генри и для меня, показывал я ей, они стояли примерно *тут* и *тут*, и микрофон на штативе, в который Сони Тон-Айме нас представил, он был где-то *там*. А А. — когда я его заметил — видимо, вскочил с места где-то в центре правой стороны. Вот *там*. И он быстро бежал и поднялся по этим ступенькам. И напал. А когда я упал, это случилось примерно *здес*ь. Именно *здес*ь.

А. сделал то, что представлял себе и в чем так нуждался: постоял ровно в том месте — там, где, как я сказал себе, было то самое место, — где я прежде упал. Должен признаться, что, стоя там,

я испытывал определенное торжество. Я вспомнил, но не стал произносить вслух, строки из стихотворения *“Invictus”*, “Непокоренный”, У. Э. Хенли: “Судьбою заключен в тиски, / Я не кричал, не сдался в плен, / Лишенья были велики, / И я в крови — но не согбен”[21].

После этого, рассказывал я Элизе, меня перенесли сюда, а потом — я не знаю, сколько прошло времени, — на каталке отвезли к вертолету, который приземлился где-то *там*.

Майкл рассказал:

— Мы посадили вертолет скорой помощи прямо напротив задней двери, и через эту дверь его выносили.

Ребята из Чатокуа были очень милы и оставили нас одних в этом огромном пространстве, и очень долго все, чего мы хотели, — было просто обнимать друг друга. Мы стояли там, крепко держа один другого в объятьях, и повторяли: *Все хорошо. Хорошо, что мы сюда приехали. Мы вместе. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Было важно это сделать*.

Я видел, что Элизе непросто находиться там, но, как она сказала, хорошо, что теперь она знала,

---

[21] Примечания: 21
Перевод В. Рогова.

как это было, как все выглядело, и ей больше не надо этого для себя выдумывать. Когда ей рассказывали: “Через эту дверь его выносили”, ей было тяжело слышать это, но она держала себя в руках. Я был очень рад, что она здесь. Мы обнимали друг друга и без слов рассказывали, что мы друг для друга значим, что мы прошли через ночной кошмар и что теперь все хорошо. Все было бы совершенно по-другому — печальнее, без такой моральной поддержки, менее целительно, — если бы я был там один.

Что касается меня, то мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, что со мной происходит. Поначалу восстановление событий для Элизы и беспокойство за ее состояние отвлекли меня от моих собственных чувств. Однако, стоя там в тишине, я осознал, что каким-то образом сбросил с себя груз и что самое точное слово, которым я могу обозначить то, что испытываю, — это *легкость*. Круг замкнулся, и я делал ровно то, что, как я надеялся, смогу здесь сделать, — примирялся с тем, что случилось, примирялся с собственной жизнью. Я стоял там, где меня почти убили, одетый, должен вам сообщить, в *новый* костюм от Ральфа Лорена и ощущал… целостность.

— Я вижу, тебе это пошло на пользу, — сказала

Элиза. — И мне тоже пошло на пользу.

Я вспоминаю вопрос, который задавал себе после нападения: сможет ли наше счастье выдержать подобный удар? Стоя здесь, на сцене амфитеатра в Чатокуа, я уже знал ответ. Да, мы создали наше счастье заново, пусть и несовершенно. Даже в тот день под голубыми небесами я понимал, что оно больше не так безоблачно, как было раньше. Это было счастье в ранах, в уголке у которого остается — и, быть может, навсегда останется — тень. И все же это было крепкое счастье, и когда мы обняли друг друга, я понял, что нам его хватит.

— Мы здесь закончили, — сказал я Элизе и взял ее за руку. — Поехали домой.